

ЖАН ЖЕНЕ

ВЛЮБЛЕННЫЙ ПЛЕННИК



# Жан Жене

## Влюбленный пленник

### Серия «Extra-текст»

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=66279802](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66279802)*

*Ж. Жене. Влюбленный пленник: ООО «Издательство АСТ»; Москва;*

*2021*

*ISBN 978-5-17-137037-4*

### Аннотация

Жан Жене с детства понял, что значит быть изгоем: брошенный матерью в семь месяцев, он вырос в государственных учреждениях для сирот, был осужден за воровство и сутенерство. Уже в тюрьме, получив пожизненное заключение, он начал писать. Порнография и открытое прославление преступности в его работах сочетались с высоким, почти барочным литературным стилем, благодаря чему талант Жана Жене получил признание Жана-Поля Сартра, Жана Кокто и Симоны де Бовуар.

Начиная с 1970 года он провел два года в Иордании, в лагерях палестинских беженцев. Его тянуло к этим неприкаянным людям, и это влечение оказалось для него столь же сложным, сколь и долговечным. «Влюбленный пленник», написанный десятью годами позже, когда многие из людей, которых знал Жене, были убиты, а сам он умирал, представляет собой яркое и сильное описание того исторического периода и людей.

Самая откровенно политическая книга Жене стала и его самой личной – это последний шаг его нераскаянного кощунственного паломничества, полного прозрений, обмана и противоречий, его бесконечного поиска ответов на извечные вопросы о роли власти и о полном соблазнов и ошибок пути к самому себе. Последний шедевр Жене – это лирическое и философское путешествие по залитым кровью переулкам современного мира, где царят угнетение, террор и похоть.

# Содержание

Воспоминания	6
Конец ознакомительного фрагмента.	175

# **Жан Жене**

## **Влюбленный пленник**

Jean Genet

Un Captif Amoureux

© Editions GALLIMARD, Paris, 1952

© Смирнова Алла, перевод

© ООО «Издательство АСТ»

\* \* \*

# Воспоминания

Страница, которая была поначалу белой, теперь сверху донизу покрыта крошечными черными значками, буквами, словами, запятыми, восклицательными знаками, и благодаря им страницу теперь можно прочесть. Однако откуда это непонятное душевное беспокойство, отвращение, чуть ли не тошнота, нерешительность, которая не позволяет мне начать писать... неужели реальность и есть это множество черных значков? белизна здесь – субстанция сродни полупрозрачности пергамента, охре глиняных табличек то с процарапанными, то с рельефными письменами, а прозрачность и белизна, возможно, – реальность более убедительная, чем уродующие их значки. Палестинская революция была записана на небытии, вот еще одна субстанция – небытие, и белая страница, и любой, самый крошечный просвет белого листа между двумя словами, возможно, более реальны, чем черные значки? Читать между строк – искусство штиля, читать еще и между слов – искусство шторма. Если бы реальность могла существовать в каком-то определенном месте, она, реальность времени, проведенного рядом с палестинцами – но не вместе с ними – сохранилась бы, возможно, я не совсем точно выражаюсь, между каждым из слов, стремящихся осознать эту реальность, но она съеживается, уплотняется, туго входит в пазы между словами или, вернее, оказывается плотно

вбита между ними, на этом белом пространстве бумажной страницы, между словами, а не в них самих, которые и были написаны для того, чтобы исчезла эта реальность. Нет, скажу по-другому: пространство между словами наполнено реальностью больше, чем время, необходимое, чтобы эти слова прочитали. Но, возможно, это то самое, плотное и реальное время, спрессованное между буквами древнееврейского языка; и когда мне привиделось, что негры – это черные буквы на белой странице Америки, эта картинка промелькнула слишком быстро, поскольку реальность в том, чего я никогда не смогу узнать достоверно, она там, где разыгрывается любовная драма между двумя американцами с разным цветом кожи. Выходит, палестинская революция прошла мимо меня? Именно. Я понял это, когда Лейла посоветовала мне отправиться на Западный берег реки Иордан. Я отказался, потому что оккупированные территории были лишь частью трагедии, прожитой мгновение за мгновением и теми, кого оккупировали, и теми, кто оккупировал. Их реальность была переплетением ненависти и любви, прозрачностью, тишиной с насечками слов и фраз.

Мне показалось, что в Палестине – здесь это заметнее, чем где бы то ни было – у женщин на одно положительное качество больше, чем у мужчин. Мужчина, тоже храбрый, отважный, внимательный к другим, в каком-то смысле ограничен собственными добродетелями. В то время как к добродетелям женщин, которые, впрочем, не допущены на военные

базы, но работают в лагерях, добавляется, ко всем прочим, еще одно качество, над которым можно было бы от души посмеяться. В комедии, которую они разыгрывали, чтобы защитить кюре, мужчинам не хватило бы убедительности. Возможно, гинекей, женские покои в доме, был изобретен женщинами, а не самцами. Когда мы закончили обедать, было около половины первого. Лучи солнца вертикально падали на Джераш<sup>1</sup>, мужчины отдыхали. Мы с Набилой, единственные бодрствующие существа, которые не пытались укрыться в тени, решили отправиться в лагерь Бакаа неподалеку. В те времена Набила была еще американкой, позднее она разведется, чтобы остаться с палестинцами. Ей тридцать, она красива, как героини вестернов: джинсы, синяя джинсовая рубашка, распущенные черные волосы до пояса, на лбу челка, в такой час на дороге, ведущей в лагерь, она выглядела неприлично соблазнительной. Какие-то палестинки в национальных платьях заговорили с ней и были чрезвычайно удивлены, когда эта женщина-мальчик ответила им по-арабски, причем с палестинским акцентом. Стоит только трем женщинам начать разговор, не успеют они обменяться двумя-тремя учтивыми фразами, как к ним присоединяются еще пять женщин, а потом еще семь-восемь. Я стоял рядом с Набилей, но обо мне забыли, вернее, просто не обращали внимания. Минут через пять мы зашли в дом к одной из палестинок выпить чаю – просто предлог, чтобы продолжить разговор в про-

---

<sup>1</sup> Город в Иордании. (Прим. ред.)



хладной комнате. Они разостлали для нас двоих покрывало, бросили на него несколько подушек, сами остались стоять, готовя чай или кофе. Никто не обращал на меня внимания, кроме Набилы, которая, вспомнив о моем присутствии, протянула мне стаканчик. Разговор велся по-арабски. А моими собеседниками были четыре стены и беленый известью потолок. Что-то подсказывало мне: данная ситуация не совсем соответствует принятому на Востоке – я оказался единственным мужчиной среди нескольких арабских женщин. Это был какой-то Восток наоборот, ведь все женщины, кроме троих, были замужем, и каждая, похоже, была единственной женой у своего мужа. Так что вся эта обстановка – я лежал, развалившись на подушках, как паша – выглядела довольно двусмысленной. Я прервал поток слов, которыми они обменивались с Набилей, и попросил ее перевести:

– Вы ведь все замужем, где ваши мужья?

– В горах!

– Они воюют!

– Мой работает в лагере!

– И мой!

– А что бы они сказали, если бы узнали, что с вами находится чужой мужчина, который лежит на их покрывалах и подушках?

Они расхохотались, а одна сказала:

– Они это и так узнают. Узнают от нас, смутятся, а мы еще и посмеемся. Мы все будем смеяться над нашими воинами.

От досады они сделают вид, что играют с детьми.

При этом все женщины не только болтали: каждая занималась одним-двумя существами мужского пола, которых некогда произвела на свет, меняла им пеленки, давала грудь или соску, чтобы он вырос, стал героем и погиб в двадцать лет не на Святой земле, а ради нее. Так они мне сказали.

Это было в конце 1970 года в лагере Бакаа.

Слава героев измеряется не значимостью завоеваний, а величию знаков почитания; «Илиада» важнее, чем война Агамемнона, халдейские стелы значимей, чем армии Ниневии; колонна Траяна, «Песнь о Роланде», настенная живопись великой Армады, Вандомская колонна, все эти памятники, прославляющие военные победы, были созданы после великих сражений благодаря трофеям, созданы талантом художников, их пощадили мятежи и ненастья. Остаются только свидетельства более или менее точные, но всегда волнующие, дарованные победителями грядущим векам.

Безо всякого уведомления мы оказались в состоянии боевой готовности. Европа содрогнулась, я до сих пор не могу прийти в себя. За три года до этого, цитирую: «кинематографисты Тель-Авива разбрасывали по пляжам башмаки, каски, ружья, штыки, оставляли на песке следы босых ног, чтобы изобразить картину разгрома, которая будет доработана в студии Лос-Анджелеса». Изображение битв, побед или поражений, все это не было внове, в каждом лагере имелись свои хитрости, свои мастера, творцы, приписанные к армии

в каждом египетском походе, рисовальщики и художники живописали по следам событий то, что оставит вам победитель. В 1967 году Израиль сперва подготовил, затем снял, смонтировал беспорядочное бегство египтян, а на седьмой день показал его по телевизору, мир получил эту картинку одновременно с заверениями об их победе над арабами. Внезапно умер Насер, и пышность его похорон затмила саму смерть. Колыбель, аэростат, если хотите, гроб, раскачивался, танцевал, почти парил над головами людей, с виду рассерженных, но, возможно, очарованных этой игрой. Хусейн, Бумедьен, Косыгин, Шабан-Дельмас, Хайле Селласие, прочие главы государств или правительств были отодвинуты в сторону пятнадцатикилограммовыми кулаками, широкими накачанными плечами – сколько надо перетаскать ящиков – каирских грузчиков или рабочих сборочного конвейера, отодвинуты и поставлены на свое место – так осторожно и даже изящно снимают шелковый чулок, захватив его между большим и указательным пальцами, и кладут на диван. Суровые египетские парни гроб не отдали.

Игра уже началась, и мяч для регби затерялся в свалке, чтобы вновь появиться в другом углу экрана. За него дрались несколько регбистов. Чей раздосадованный пинок швырнул его в бессмертие? Те, кто несли гроб, шли все быстрее и быстрее, за их бешеным темпом едва успевал Коран. Ступни, ноги, груди, гроб неслись во весь опор. Носильщики устремились вперед с гробом, злобные, как игроки Олл Блэкс.

Толпа поглотила его. Весь мир следил за этой игрой с экранов телевизоров, угадывал передвижения гроба – от ноги к ноге, от кулака к плечу, между ног, в волосы, и на египетской земле толпа, носильщики, чтецы Корана, гроб, регбисты, все исчезло, осталось одна только скорость, она все нарастала и нарастала, и так до самой могилы. Лопаты, выворачивающие землю, издавали больше шума, чем холостые пушечные выстрелы. На могиле, несмотря на охрану, две или три тысячи освобожденных от груза ног танцевали до самого утра. Они двигались с абсолютной скоростью, это была скорость Бога Единого. Я подумал, что на Кубке мира по Похоронам на скорость эти стали бы чемпионами.

Немного позже, в сентябре 1970 Хусейн, король Иордании мог быть свергнут фидаинами, но Америка пришла ему на помощь. Коль скоро моральный дух и мужество Насера оказались не на высоте, чувственное и мужественное регби, которое мы наблюдали по телевизору, были некой церемонией, призванной стереть из памяти поражение 1967, скрыть то, что предвещал 1970. Тот, кто пропадает, – прячется? Сила этого зрелища на экране была простодушной, как поцелуи, расплющенные о рот, волосы, золотую цепочку, серьгу в ухе, веки того, кто забил гол. А крики взметнувшегося стадиона, возгласы – так приветствовали гол эти обмен поцелуями? Под грудой десятерых потных парней пропал один? Он так прячется? Тело *Раиса*<sup>2</sup> исчезло. Тот, кто был солн-

---

<sup>2</sup> «Раис» – глава, президент в переводе с арабского языка. (Прим. ред.)

цем народа, соединится с кедром, из которого сделан гроб, а время все благословит. Эпоха наций насаживает на вертел арабский народ. Отечества возбуждены... Нужны будут новые войны. Насер объявится снова в виде рисунков в комиксах.

Еще прежде чем оказаться там, я знал, что необходимость моего присутствия на берегу Иордана, на палестинских базах, никакими словами выразить невозможно: я принял этот мятеж, как музыкальное ухо распознает верную ноту. Часто лежа под деревьями возле палатки, я смотрел на Млечный путь, такой близкий за нависающими ветками. Вооруженные часовые передвигались в ночи бесшумно, по траве и листьям. Их силуэты хотели слиться со стволами деревьев. Они прислушивались. Они, часовые. Мой-твой-часовой.

Млечный путь, беря свое начало в огнях Галилеи, выгибался сводом, который, нависнув надо мной, нависал и над всей Иорданской долиной, а затем, разделившись, умирал в Саудовской пустыне. Вытянувшись на покрывале, я проникся этим зрелищем, возможно, глубже, чем палестинцы, для которых небо было банальностью. Придумывая, как мог, их мечты, ведь у них были мечты, я знал, что меня отделяет от них вся моя жизнь, которую я прожил в тоске и скуке. Поскольку слова «колыбель» и «невинность» связаны так целомудренно, палестинцы, дабы случайно не исказить ни то, ни другое понятие, похоже, не решались поднять голову: навер-

ное, они и не видели эту ночь, где рождалась красота неба – ее колыбель качали мигающие огни Израиля. В одной шекспировской трагедии лучники пускают стрелы в небо, а я не удивился бы, если бы фидайны, твердо стоящие на широко расставленных ногах, раздраженные такой красотой свода, опирающегося на землю Израиля, прицелились бы и выпустили автоматную очередь в Млечный путь, Китай и социалистические страны, поставляющие им столько боеприпасов, что можно было бы разнести половину небесного свода. Но чтобы Палестина стреляла в звезды, которые излучает их собственная колыбель?

– Была единственная процессия – моя. Та, в святую пятницу, где я шел впереди в белом стихаре и черной мантии. Мне некогда с вами разговаривать, – сказал мне кюре, уже красный от гнева.

– А я видел две процессии. Там еще была хоругвь с Богородицей...

– Нет, никакой второй процессии с Богородицей не было. Это что, проходимцы, которые шагали в ногу и трубили в трубу? Какие-то рыбаки, шли бы они своей дорогой. Любят они скандалы.

А у меня на глазах столкнулись две процессии, во главе первой шел этот ливанский кюре, а над второй реяла белая с синим хоругвь, и, если верить рассерженному священнику, шествие состояло из всякого сброда, бездельников, моряков,

они направлялись в порт. Я позднее узнал от одного бенедиктинца, процессий, и правда, было две. Первая, несмотря на музыку, двигалась довольно медленно, с какой-то неестественной скорбью. Оркестр и хор – мужчины и женщины – исполняли «Реквием», и вот эту скорбную процессию решительно подрезала другая, где очень бодро, чуть ли не бегом, шли молодые люди и дули в трубы. Шагающий во главе здоровяк высоко нес стяг с образом богородицы. Я узнал ее по двум сложенным ладоням, по отделанным белой каймой облакам на синем небе, золотистые звезды обрамляли ее, как на картинах Мурильо, пальцы ног опирались на полумесяц, который казался таким острым. Звезды, синева неба, размеренный шаг, трубы, бодрая мелодия, резиновые сапоги, вязаные свитера моряков, вся эта процессия должна была бы открыть мне – и если верить кюре, главным образом звезды и луна, открыть мне вот что: звезд, описывающих почти идеальную сферу вокруг богородицы, было ровно столько, сколько в Малой Медведице; синева неба была синевой моря; облака с белой каймой – волны с изгибом; полумесяц – Ислам; трубы трубили радостную мелодию, потому что люди шли по правильному пути, наперерез траурной процессии; парни в резиновых сапогах это рыбаки, а женщина – без нимба, венчающего голову Девы Марии, символизировала Полярную звезду. Так начался мой разговор с бенедиктинцем. Еще он мне сказал, что образ Богородицы отнюдь не был ни богородичным, ни вообще христианским, а привнесенным

еще доисламскими народами, населявшими морское побережье. Она была языческой по своему происхождению, а моряки поклонялись ей уже тысячелетия; в самые темные ночи она неизменно указывала им на север; благодаря ей самая неоснащенная лодка могла бы идти без парусов, но монах не смог мне сказать, почему эта процессия была такой радостной в день смерти Сына, оставившего шестнадцатилетнюю мать, похожую на образ богородицы, изображенный на стяге. Поскольку расспрашивать его дольше он не позволил, я сказал себе, то есть, сказал без слов, что радость этих труб, возможно, была именно сегодня, в пятницу, торжеством язычества над религией Сына.

Этой ночью в Аджлуне<sup>3</sup> я увидел Полярную звезду, которая находилась справа, на своем привычном месте в созвездии Малой медведицы, и если Млечный путь рассыпался в Аравийской пустыне, я чувствовал звездное головокружение, осознавая, что нахожусь в мусульманской стране, где женщина, как я еще думал, так далека, я вызывал в своем пред-сне процессию мужчин-холостяков, которые завладели – это походило на похищение – *образом* очень красивой дамы, и женщина эта являла собой Полярную звезду, навечно закрепленную где-то в эфире, на неисчислимо-огромном

---

<sup>3</sup> Аджлун – город на северо-западе Иордании, расположенный вблизи границы с Израилем. (Прим. ред.)



расстоянии, и, как всякая женщина<sup>4</sup>, она принадлежала всегда к какому-то другому созвездию; рыбаки мастурбировали чаще, чем законные мужья, а слово полярный относилось и к звезде, и к женщине. Хотя я и лежал совершенно неподвижно, завернувшись в покрывала, лицом вверх, я чувствовал, как звезды увлекают меня в некий вихрь, нежность мускулистых рук и волновала, и успокаивала. Я слышал, как в двух шагах от меня, в ночи струятся воды Иордана. Я стыл.

Так когда-то, скорее, из любопытства, а не по убеждению приняв приглашение провести несколько дней с палестинцами, я останусь с ними почти на два года, и каждую ночь, вытянувшись на покрывале, полумертвый, в ожидании, пока меня усыпит пилюля нембутала, я лежал, широко раскрыв глаза, с ясной головой, не удивляясь ничему и ничего не боясь, но находя забавным то, что лежу здесь, где по обоим берегам реки мужчины и женщины давно привыкли жить настороже, так почему не я?

При всей своей тогдашней бедности я был человеком, которому повезло родиться в столице империи столь обширной, что она опоясывала весь земной шар, а в это самое время палестинцев изгоняли с их земель, из их домов, их poste-

---

<sup>4</sup> Палестинцы, которых часто приглашали в Китай, напоминают – и мне нечего будет им возразить – высказывания Мао: одно из самых часто цитируемых касалась женщин, которых тот называл «Другая половина созвездия»

лей. А сколько им пришлось скитаться потом!

«Звезды, мы были звездами. Из Японии, Норвегии, Дюс-сельдорфа, Соединенных Штатов, Голландии, не удивляйся, что я считаю на пальцах, из Англии, Бельгии, Кореи, Швеции, стран с неизвестными нам названиями, это были просто географические понятия, приезжали нас снимать, фотографировать, брать интервью. «Кинокамера», «в кадре», «наезд камеры», «голос за кадром», понемногу фидайны оставались «за кадром». Какой-то журналист, рядом с которым целых три метра шел Халеб абу Халеб, благодаря этой милости стал утверждать, будто является другом Палестины; мы узнавали неведомые нам прежде названия городов, учились пользоваться невиданными ранее приборами, но никто на военных базах или в лагерях не видел ни одного фильма, ни одной фотографии, ни одной передачи, ни одной иностранной газеты, в которой говорилось бы о нас, мы существовали, мы делали поистине удивительные вещи, раз уж на нас приезжали посмотреть так издалека, но где было это далеко? Журналисты оставались с нами почти два часа: им нужно было сесть на самолет в Аммане, чтобы шесть часов спустя присоединиться к свите Лорда-мэра лондонского Сити. Большинство из них полагало, будто Абу Аммар и Ясир Арафат это два разных человека, возможно, противники. Даже те, кто знали правду, ошибались, когда умножали на три или четыре (количество имен, которые каждый носил) число сторон-

ников АОП<sup>5</sup> или ФАТХа, думая, будто нас в три-четыре раза больше. Нами восхищались, пока наша борьба не выходила за пределы, установленные Западом арабскому миру. Сегодня и речи нет, чтобы поехать в Мюнхен, Амстердам, Бангкок, Осло – мы когда-то добрались до Осло, где выпало столько снега, что его можно было собирать и лепить снежки, а потом бросать прямо в физиономию. В наших песках и холмах мы были людьми из Легенды. Спуститься ночью в бездну Иордана, поставить мины, утром вернуться, это значило подняться из Ада или спуститься с Неба? Когда на нас смотрел какой-нибудь европеец или европейка...»

Мне поведали этот рассказ через переводчика, но мне показалось, что его автору-фидаину приходится повторять его часто, ведь каждое слово стояло на своем месте и казалось так уместно во фразе, что я все понимал еще до того, как звучал перевод. Очевидно, фидаин прочел это в моем взгляде? Он обратился непосредственно ко мне:

– Все бойцы моего возраста были похожи. Похожи на меня. Взгляд европейца сиял – теперь я знаю, почему и как он сиял: от желания, потому что мы чувствовали этот взгляд на своем теле еще до того, как замечали самого европейца. Даже если мы поворачивались спиной, ваши взгляды пронзали затылок. И мы инстинктивно становились в позу – героическую, а значит, соблазнительную. Ноги, бедра, туловище, шея, завораживало всё – не то, чтобы хотели соблазнить ко-

---

<sup>5</sup> Армия Освобождения Палестины.

го-то конкретно, просто они провоцировали ваши взгляды, а мы на них отвечали, как вы и надеялись, ведь вы сделали из нас звезд. А еще чудовищ. Вы нас называли: террористы! Мы были террористами-звездами. Любой журналист готов был подписать Карлосу чек на крупную сумму, чтобы выпить с ним один, два, три, десять стаканов виски, опьянеть, и чтобы он обратился к нему на «ты», А если не Карлос, то пускай Абу эль-Аз.

– Кто это?

В 1971 был убит Васфи Таль, премьер-министр Хусейна – его зарезал, кажется, в Каире, один палестинец, который потом смочил руки в его крови и стал пить. Он называет себя Абу эль-Аз. Сейчас он в ливанской тюрьме, его арестовали фалангисты. Фидаин, который мне это рассказывал, был его сообщником. Я не скажу его имени. С каким отвращением европейские журналисты передавали это «я пил его кровь», сперва я подумал, что это риторическая фигура, которая означает «я его убил». Его верить его товарищу, он и вправду лакал кровь Васфи Таля.

– Все командиров и всех фидаинов, членов АОП Израиль называет террористами. Что, он должен восхищаться вами?

– Ну, рядом с ними, рядом с американцами и европейцами мы просто карлики. Если вся земля – это царство террора, мы-то знаем, кто в этом виноват, вы всюду сеете террор, а сами прячетесь в норы. Сегодняшние террористы и те, о ком я говорю, выставляют напоказ свои тела, в этом-то и разница.

После соглашений 1970, когда в Аммане уличную полицию разогнали патрули фидаинов и бедуинов, иногда смешанные, фидаины с насмешливой беспечностью считывали эмблемы и символы каждой страны, быстро пролистывали паспорта, которые бедуины осторожно рассматривали и вертели в своих длинных пальцах аристократов пустыни. С серьезными лицами они возвращали разрешения на проживание, пропуска, водительские права, технические паспорта, держа документы вверх ногами. Было видно, как они растеряны и напуганы. Униженные в 1970, они с радостью убивали палестинцев в июне 1971. Причина убийства была не важна, была радость убийства.

Сегодня почти весь Амман похож на квартал, который до сих пор называют Джабаль Амман, и который остается самым шикарным кварталом столицы. Стены вилл были возведены из шишковатого камня, порой обтесанным под так называемый «алмазный конус». В 1970 этот роскошный район, солидный и внушительный, был так не похож на строения в лагерях из парусины и листового железа. Эта парусина с разноцветными заплатками, закрывающими дыры, радовала взгляд, особенно взгляд западного человека. Если смотреть на лагерь издалека и в пасмурный день, можно было подумать, будто там царит сплошное счастье, казалось, каждый кусок разноцветной ткани тщательно подобран в сочетании с другими, и такую гармонию мог создать только веселый на-

род, сумевший сделать из своего лагеря радость для взора.

Кто, читая эту страницу в середине 1984, когда она была написана, спросит себя, подходит ли слово «разрастаться» лагерям палестинцев? Как, наверное, четыре тысячи или даже больше лет назад они, похоже, появились на поверхности планеты сразу во многих местах: Афганистан, Марокко, Алжир, Эфиопия, Эритрея, Мавритания... целые народы становятся кочевниками не по собственному выбору, а из-за какого-то зуда в ногах, мы видим нечто подобное из иллюминатора самолета или перелистывая журналы для богатых, где все эти лагеря на глянцевой бумаге, кажется, преисполнены мира и покоя, а ведь это обломки «оседлых» народов. Не зная, как избавиться от «сточных вод», они просто оставили их в долине, на склоне холма, как правило, между тропиками и экватором.

С небес, из герметичного пространства самолета, мы видим, что так называемые оседлые города и нации, прикрепленные, привязанные к земле, подобно Гулливеру, если и использовали труд своих кочевников: корсаров, мореплавателей, магелланов, де гама, ибн-батут, путешественников, центурионов, землеустроителей, то использовали, презируя их. Зато потом так хорошо, так тепло им было при банках, под сенью золотых запасов, когда благодаря переводным векселям «циркулировали» деньги.

Нам следовало с недоверием относиться к этой изысканности и элегантности, которая могла бы убедить нас, что

счастье – там, где столько фантазии и воображения; следует с недоверием рассматривать фотографии освещенных солнцем лагерей на глянцевой бумаге роскошных иллюстрированных журналов. Порыв ветра – и все улетело, парусина, холсты, цинковые и железные листы, и я увидел несчастье при свете дня.

Присвоить себе язык мореплавателей, было, вероятно, делом нетрудным, но на каком языке принимались говорить, когда терялись на твердой земле, нет, еще не поэты, как их именовали на суше, шагающие и отдыхающие на незыблемой почве, успевающие воскресить в памяти и бескрайние морские просторы, и пропасти, и вихри, а именно мореплаватели, идущие по курсу, в надежде – если не вмешается небесное или материнское провидение – на неожиданное возвращение на знакомую землю, к своему очагу; так какие слова вырывались из уст, когда нужно было назвать берег или деревянный брус, ют, верхнюю палубу, кусок треугольного полотнища на брам-стенге. Странно не то, что слова эти были изобретены в припадке безумия, а то, что они до сих пор живы в нашем языке, а не сметены мощным кораблекрушением. Придуманные в часы скитаний и одиночества, то есть, страха, они в нашей лексике что-то вроде килевой качки, которая заставляет нас раскачиваться из стороны в сторону и терять равновесие.

Если нужно добраться из Клагенфурта в Мюнхен, сядишь-

ся на небольшой поезд, пульсирующий между холмов петлевым узором, где контролер-австриец ходит по узкому проходу, раскачиваясь, как матрос на палубе в бурю. В Тирольских горах этот нелепый танец враскачку в коридорах поезда – единственное напоминание о море, все, что осталось от континентальной и морской империи, где над землями и морями никогда не заходило солнце, Максимилиан и Шарлотта видели это, когда ездили в Мексику. «Большие глубины» – это такое же высокопарное выражение, как и почти все судоходные термины, старое, но не забытое. Когда в море скитались моряки, потерянные в одиночестве, тумане, воде, постоянной качке, они скитались – в надежде потеряться и там тоже – в своих словесных находках и открытиях: буруны, шторма, край земли, поселенцы, баобабы, ниагары, катраны... при помощи этого словаря, неведомого их вдовам, вышедшим вторично замуж за какого-нибудь башмачника, они станут рассказывать о путешествиях, о которых даже просто говорить нельзя без страха и наслаждения. «Воды больших глубин» – возможно, это глубина, сходная с самым черным мраком, и ни один взор не в силах проникнуть через тысячи и тысячи стен, туда, где бесполезны цвета, поскольку – невозможны. Амман я тоже могу описать с помощью этого выражения, ведь под семью горами, на которых раскинулся город, расстилаются девять долин, расщелин, их не смогут заполнить собой ни банки, ни мечети, и когда покидаешь дорогие, то есть, расположенные высоко и самые богатые квар-



талы, словно спускаешься в большие глубины, даже странно, что туда можно добраться без скафандра, а еще замечаешь вот что: ноги становятся подвижнее, коленные чашечки поворачиваются быстрее, сердце бьется слабее, но крики прохожих и гул автомобилей – а порой и треск автоматной очереди – сходятся, словно две команды-соперницы какого-то нового спорта, на мгновение всё перекрывают крики, затем гул и получается сумбур, в котором ничего нельзя различить четко, и остается только некий шум, непонятно почему его называют глухой шум, хотя глухим становитесь вы сами; это что касается слуха. Что же до взгляда, он останавливается на однообразно серых витринах, окаймляющих улицы «больших глубин». Без сомнения, пыль была еще арабской, а товар японский, но ровный слой пыли на привезенных из Токио инструментах, слой пыли, на взгляд такой же мягкий, как шерстка внутри ослиного уха, был тоже подобием ночи, но не крошечной ночи, а словно освещенной этой серой пылью, которая и делала из Аммана город больших глубин. Нежная, кроткая пыль, опускающаяся на последние модели японской электроники, самого *неистового* архипелага мира, ну как ее объяснить? Неприятие любого проявления эстетства? Погребение, откуда нет возврата? Образ будущего, того, во что всё превратится? Нежность и мягкость, от которых делаются хрупкими самые страшные механизмы?

Но была бы астрономия наукой столь же ничтожной и пу-

стой, что и теология, если бы мореплаватели, в страхе перед большими глубинами и рифами, не рассказали о небесах и созвездиях?

От Аммана, города царства Давида, набатейского, римского, арабского, пришедшего из глубин веков, поднимался смрад наносных отложений.

Поскольку Провидению, которое вело нас за руку, веры больше не было, оставалось полагаться на случай. Благодаря ему я узнал о двух каналах, по каким попадали в Египет молодые североафриканцы, решившие умереть за ФАТХ, единственную организацию, название которой в 1968 было известно всем арабам. Бургиба, предпочитавший дипломатию войне, запретил на своей территории всякие сети добровольцев, но, тем не менее, они там существовали. Возможно, он просто закрывал глаза, поскольку приближающая старость все настойчивее требовала послеобеденного отдыха.

Некоторые слова требуют объяснений более, чем другие, тоже незнакомые. Услышав их хотя бы один раз, не можешь уже отделаться от их музыки, и слово «фидаин» из их числа. В поезде из Суса в Сфакс<sup>6</sup> я познакомился с шестью молодыми людьми, они смеялись и ели сардины и сыр. Они были счастливы, потому что призывная комиссия признала их негодными к военной службе, и по их рассказам я понял, что

---

<sup>6</sup> Сус и Сфакс – города в Тунисе. (Прим. ред.)

они симулировали слабоумие, помешательство и мастурбацию, от которой глохнут. Им было лет по двадцать. В Сфаксе мы расстались. Я вышел на перрон. Несколько часов спустя я вновь увидел их на берегу водоема, они опять ели консервы, но теперь не ответили на мое приветствие, на мою улыбку, смутились, кто-то опустил голову, рассматривая дыры в куске швейцарского сыра, другие, узнав меня, негромко и быстро заговорили между собой, и я понял – по крайней мере, так мне передали – что они вышли из поезда не на перрон, а с противоположной стороны, на рельсы, чтобы их не увидел начальник станции. На следующий день грузовик повез их в Меденин<sup>7</sup>, где они остановились в небольшой гостинице. Ночью они перешли ливийскую границу.

Это происходило в начале лета 1968. Я часто ездил в Сфакс. Служащий отеля спросил меня, нравится ли мне Тунис – так после обмена взглядами завязываются любовные отношения. Я ответил, что нет.

– Пойдемте вечером со мной.

Мы встретились возле книжного магазина.

– Я вам прочту и переведу.

Книготорговец, незаметно, как ему казалось, прикрываясь стопкой книг, протянул нам несколько небольших сборников арабских стихов. Он открыл дверь и провел нас в маленькую комнату. Молодой человек прочел первые стихи,

---

<sup>7</sup> Меденин – город на юго-востоке Туниса. (Прим. ред.)

посвященные ФАТХу и фидаинам. В начале каждого стихотворения, справа, я увидел искусно выполненные миниатюры.

– А почему тайно?

– Полиция не хочет, чтобы они распространялись. Ты знаешь, американские и вьетнамские инженеры осваивают юг Туниса. Бургиба боится историй с Америкой и Израилем. Наше правительство признало Сайгон. Идем завтра с нами. Нас трое, мы поедем на машине сорок километров.

– Зачем?

– Сам увидишь. И услышишь.

Стихи, во всяком случае, их перевод, поразили меня лишь красотой каллиграфии. В них говорилось о битвах, о чем-то страшном, но в метафорах я ничего не понял: голуби, невеста, мед. На следующий день, около пяти вечера, молодые люди повезли меня в пустыню. Они остановили машину там, где пересекались два следа. В шесть мы стали слушать радио. Это было выступление Бургибы на арабском. Время от времени молодые люди сердились, насмехались. Потом мы отправились обратно в Сфакс.

– Ну и зачем было так далеко ехать?

– Мы уже два года так развлекаемся: слушаем выступление Баргибы в пустыне.

Затем, уже серьезно, они показали мне два сходящиеся на песке следа: через юг с караванами верблюдов и через север Туниса. Оба шли из Марокко, Мавритании, Алжира в

сторону Триполи, Каира и палестинских лагерей. Те, кто направлялись по северному «каналу», ехали автостопом или «зайцем», и контролеры особо не свирепствовали, это мне рассказал сам контролер. Те, кто выбрали южный «канал», шли с караванами бедуинов. Граница короля Идриса<sup>8</sup> была для них открыта. Из Триполи после нескольких недель военной подготовки поездом в Каир, из Каира в Дамаск или Амман, уже не знаю, как.

В палестинские лагеря из четырех-пяти стран Магриба хлынул поток желающих сражаться и помочь палестинцам, а благодаря этой противозаконной поездке в пустыню мне удалось услышать эти призывы, воззвания и обращения, осознать, какой быстрый отклик находит палестинское сопротивление у арабов. Разумеется, необходимо было помочь фидаинам противостоять сионистской оккупации, но за этой потребностью я мог разглядеть и нечто другое: каждый из этих арабских народов желал избавиться от собственных работодателей: Алжир, Тунис, Марокко стряхнули со своих ветвей притаившихся там французов, Куба – своих американцев, в Южном Вьетнаме они держались на тонкой паутинке, а в Мекке еще не было паломников.

Приблизительно в это время министр Бен Салах упомянул в своих тунисских переговорах эти цифры – 49 и 51 – то есть, пятьдесят один процент для мужчин, 49 для женщин.

---

<sup>8</sup> Мухаммад Идрис ас-Сануси – король Ливии (1951–1969). (Прим. ред.)

Вероятно, просто ради развлечения, Бен Салах решил обуздать жесты торговцев, получился какой-то ущербный, усеченный рынок: торговцы коврами с ампутированными жестами, подобно деревьям парка Ле Нотра с обрезанными ветвями, изнуренные, глядя в землю, казалось, пытались отыскать там свои принесенные в жертву ветви. Небесно-голубой глаз Бургибы смотрел только на Вашингтон. В каждой деревне тунисского побережья, протянувшегося с севера на юг, гончары многие тысячелетия неумоимо вращали миллионы амфор, которые до сих пор находят на дне моря добытчики губок, и в них, в этих амфорах, до сих пор хранится масло, морской ил укрывает их еще с карфагенской эпохи, каждое утро их находили снова, еще теплые от печи, которую только что погасили. Именно так я и представлял себе, как уменьшается, как истончается Тунис: он, сам слепленный из глины, вращался на гончарном круге и затем продавался в виде керамических амфор. В конце концов, так он весь и исчезнет, этот Тунис, – думал я.

Несколько недель спустя, где-то в середине мая 68 года в Париже, во дворе Сорбонны я нашел такие же брошюры арабских стихов, только без миниатюр, стихов во славу ФАТХа, рядом был стенд, посвященный Мао; в августе Советский Союз обкорнал Пражскую весну.

Молодым тунисцам, которых я встретил тогда на юге стра-

ны, было около восемнадцати-двадцати лет; это возраст течки, возраст обольщения ради обольщения, возраст насмешек над родительской моралью, которой потрясают, но не следуют ей. Молодежь была разнузданной, оголтелой и наглой, ведь Насер поощрял ее бунт, и потом, они были готовы умереть. Часть этой молодежи Туниса была такой, как я ее описал, а другая часть готовилась пополнить ряды официантов, приказчиков, рядовых, офицеров. Коридорные – это была последняя ступенька лестницы на Небо: красивые, полубнаженные коридорные, иногда, сочетавшись браком, они покидали Тунис первым классом, с каким-нибудь швейцарским банкиром, реже с банкиршей, и 1968 год закончился. Поначалу тайная и приглушенная, в Аммане окрепла борьба палестинцев против короля Хусейна.

Я бы хотел сказать еще про амфоры, несколько слов вернутся у меня на языке. Я видел, как их делают. На гончарном круге лежала глина, гончар вращал круг ногой – он напоминал мне крестьянку, приводящую в движение швейную машинку Зингер – и когда амфора была почти готова, он доставал ее из гончарного круга и бросал в ящик, она разбивалась, и подмастерье разминал еще свежие, не застывшие куски глины, формируя плотную массу, смешивая с другой кучей глины, которой предстояло отправиться на гончарный круг, просто гончар в последний момент сделал какую-то неоправимую ошибку. Возможно, его палец, наверное, большой или какой-нибудь другой, может, от усталости или по какой

иной причине, слишком сильно надавив, прорывал стенку сосуда, или еще что-нибудь. Нужно все начинать сначала, иначе амфора не проживет положенные ей три тысячи лет. А японские гончары, напротив, любят такие случайные повреждения. Они их дожидаются, подстерегают, что бы ни стало их причиной: глина, гончарный круг, печь, глазурь, подстерегают и порой даже утрируют, во всяком случае, готовы ввязаться с ней в новую авантюру, форма и цвет могут соответствовать всем канонам, но на боку вдруг появится царапина ногтем, обжиг окажется слишком сильным или слишком слабым, они будут беречь эту ошибку, любить ее и лелеять, пока она не станет умышленной, пока не сделается выражением и отражением их самих. Если у них получится, они будут удовлетворены: это современное произведение. А у тунисцев нет, не современное, но зато мало кто из швейцарских банкиров любит японских гончаров. К причинам, о которых я уже говорил – почему арабская молодежь едет сражаться вместе с палестинцами – думаю, следует добавить их отвращение к тысячелетним амфорам.

В своей стране молодые тунисцы смотрели вокруг и находили того, кого можно подчинить себе: феллахов, приехавших с юга, из какого-нибудь захолустья, которому еще не нашлось места на карте, или французских туристов, которых легко уболтать, в этом деле жгучий взгляд важен не меньше, чем хорошо подвешенный язык. Могло показать-



ся, будто скорость речи есть следствие приема амфетаминов, а на самом деле эта молодежь выдавала настоящие языковые перлы, поскольку их единственными учителями были дикторы французского телевидения: *«совершенствование общественной системы и замедление стремительного роста преступности, успех на всех уровнях и самые впечатляющие результаты, вследствие чего возникает необходимость пользоваться высококачественными товарами, даже если новые отрасли знания требуют применения сверхсложного оборудования последнего поколения»*, но за пределами Туниса ни по-арабски, ни по-французски ни один сопляк не решался и рта раскрыть. Требовались решительные действия, в цене были наглые и дерзкие, а в два часа пополудни начинается сиеста. Бургиба спал, вытянувшись на спине.

Однако было так приятно мечтать об этих палестинцах, и никто, разве что в Израиле, не знал еще, что все арабские страны Азии их прогонят, никто этого не знал, но каждый ждал, когда они уйдут, и втайне подготавливал их исход. Один-единственный палестинец – уже означало волнение. В 1982 их приход в Тунис – это было слишком для томного, расслабленного народа, этих итало-турко-бретонцев, тунисцев. Более тысячи палестинцев, и среди них – Арафат собственной персоной.

Именно здесь, ни раньше, ни позже, я должен объяснить,

что такое ФАТХ<sup>9</sup>. Но создатели различных наименований палестинских движений уже пользовались арабским языком, как дети или филологи. Вот почему я попытаюсь интерпретировать слово Fatah, но уверен, что не смогу раскрыть всех его богатств.

Ф.Т.Н., три согласных, в соответствии с правилами арабского языка, образуют трехбуквенный корень, означающий щель, расселину, разрыв, отверстие, и даже открытие, в смысле, начало чего-то, то есть, начало победы, но победы, которую хочет Бог. А еще Fatah это замо́к<sup>10</sup>, который влечет за собой слово «ключ», по-арабски «ключ» это *meftah*, то есть, те же согласные, перед которыми стоит *me*. Еще этот трехбуквенный, трехсогласный корень вызывает к слову *Fatiha* (та, что открывает), это первая сура *та, что открыва-ет* Коран. Она начинается с «бисмилля»<sup>11</sup> ... Все уже поняли, что Fatah, или, вернее, Ф.Т.Н. три начальные буквы слов *Falestine Tahrir* (освобождение) *Нака*<sup>12</sup> (движение). Но чтобы получилось слово Ф.Т.Н., порядок букв оказался нарушен.

---

<sup>9</sup> Аббревиатура ФАТХ (ФАТАН, Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini – движение за национальное освобождение Палестины) является сложносокращенным словом НАТАФ в обратном порядке букв, само слово “fatah” в переводе с арабского означает «победа», а слово “hataf” смерть. (*Прим. перев.*)

<sup>10</sup> Исходно в арабском языке у слова «фатах» нет значения «замок». Возможно, это значение метафорично введено автором. (*Прим. ред.*)

<sup>11</sup> Бисмилляхи-р-рахмани-р-рахим» («во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного») – фраза, с которой начинается каждая сура Корана. (*Прим. ред.*)

<sup>12</sup> Движение по-арабски «haraka». Автором была допущена ошибка в исходном написании слова. (*Прим. ред.*)

Это, наверное, развлекались взрослые дети.

Вот что получается:

FA (Falestine = Палестина)

TH (Tahrir = Освобождение)

HA (Haka= Движение)

а если исходный порядок сохранялся, получилось бы Nathfa. Само по себе это слово не значит ничего.

В трех словах: Fatah, meftah, fatiha я обнаруживаю три потаенных, скрытых значения:

Fatah это щель, расселина, отверстие, то есть, ожидание, начало победы, почти пассивное ожидание;

meftah (мефта), ключ, и обнаруживается ключ в отверстии, то есть, в замке;

Fatiha (Фатиха), третье слово, возникшее из этого корня, тоже открытие, начало, но начало суры Корана. Первая строфа Корана, где, как мне представляется, появляется религиозный смысл. За тремя этими словами, возникшими из корня Fatah, можно разглядеть три понятия: сражение (победа), сексуальное насилие (ключ в замочной скважине) и битва, которую выиграли с Божьей помощью.

Пусть читатель воспримет это длинное отступление как шутку, но выбор и сама композиция слова Fatah так тревожили меня, что я стал искать и нашел три эти значения, о которых и рассказал. А еще слово Fatah три раза встречается

в Коране.

Образ фидaina становится все отчетливей. Вот он поворачивается на тропинке: я больше не увижу его лица, только спину, а еще его тень. И когда я не смогу больше ни говорить с ним самим, ни слышать его, мне понадобится говорить об этом.

По-видимому, постепенное стирание этого образа – не только исчезновение, а еще и необходимость заполнить этот пробел чем-то другим, может быть, его противоположностью.словно в этом месте появилась какая-то дыра, в которой исчез фидайн, и теперь рисунок, фотография, портрет хотят его вернуть – во всех смыслах этого слова. Они призывают фидaina издалека – во всех смыслах этого выражения. Может, он и захотел исчезнуть, чтобы появился портрет?

Лучше всего Джакометти рисовал ближе к полуночи. Днем он смотрел, разглядывал пристально и неподвижно – нет, я не хочу сказать, что черты натурщика были в нем самом, это другое – каждый день Альберто смотрел в последний раз, он запечатлевал последний образ мира. В 1970 году я познакомился с палестинцами, многие настойчиво требовали, чтобы эта книга была завершена. А я опасался, что ее конец станет концом самого сопротивления. Что если мое решение описать все эти годы означало, что оно, это сопротивление, отступает, отдаляется от меня? словно я получил некое предупреждение: мятеж теряет силу, постепенно рас-

плывається, его заволакивает дымкой, сейчас он, словно фидайн, сойдет с тропинки и исчезнет. От него останутся лишь героические песни. Я смотрел на сопротивление, как если бы завтра ему предстояло исчезнуть.

Тем, кто видел палестинцев по телевизору или смотрел на их фотографии в газетах, казалось, что они вращаются вокруг земного шара, причем, вращаются стремительно, находясь одновременно и здесь, и там, но сами они знали: их обступают, словно окутывая своей атмосферой, все миры, сквозь которые они проникают, а мы, и они, и мы, глубоко заблуждаемся или, вернее, находимся на той границе, где над старым обманчивым представлением встает рассвет новой истины, и они сталкиваются, как заблуждение Птолемея пришло в столкновение с новой и, разумеется, преходящей и мимолетной истиной Коперника. Палестинцы считали, что их преследуют сионизм, империализм, американизм. Ближе к вечеру, когда наступали самые спокойные мгновения суток, мы сидели под защитой каменных стен в здании палестинского Красного креста. Я записывал под диктовку Альфредо какие-то адреса, и вдруг громкий крик, вернее, вой разорвал вечер. Это была женщина лет пятидесяти. Палестинка, в молодости переехавшая в Небраску, там разбогатела. Я сохранил в памяти ее лицо, ее американский акцент<sup>13</sup>,

---

<sup>13</sup> Уехавшая в ранней молодости, она говорила только на американском языке. Такое с палестинцами бывает только в Небраске.

ее неизменно черную одежду, будь то кофта и зауженная или широкая юбка, длинные шаровары, пальто с черной меховой подкладкой или опушкой, тяжелое или скроенное из легкой ткани, все было черным; туфли, чулки, гагатовые бусы, волосы и повязанный на голове платок: все только черное. Лицо ее было суровым, речь резкой и отрывистой, голос гортанным. Президент Красного креста, выделивший ей спальню и разрешивший пользоваться гостиной, рассказал о ней следующее: однажды у себя в Небраске она на экране телевизора увидела фидаинов, казненных бедуинами короля Хусейна; она выключила телевизор, отключила электросчетчик, взяла сумку, паспорт и чековую книжку, заперла дверь на все замки, отправилась в банк, в туристическом агентстве купила билет до Аммана, прилетев в Амман, прямо из аэропорта на такси явилась в распоряжение Красного креста, приведя там всех в недоумение, потому что эта невероятно богатая палестинка умела лишь подписывать чеки – что она и делала, пока не разорилась – и смотреть по телевизору американские фильмы.

Мы разговаривали с ней мало. Она знала американский язык и совсем немного арабский, но ее крик, причину которого мы поняли позднее, поведал нам, как бывают потрясены палестинцы, внезапно осознав, что все нации против них. Выбирая наугад, с каким телевизионным каналом провести время, она нажимала одну за другой кнопки, пытаясь найти диалоги на арабском языке. Она была спасена от ве-

черней скуки, от нашего с Альфредо молчания, от приглушенного далекого шума Аммана, потому что один из персонажей произнес целую фразу на бруклинском жаргоне, но – тут-то она и закричала – второй ответил ему фразой на иврите: телевизор поймал какой-то сериал из Тель-Авива. Дрожащая от гнева рука палестинки немедленно обрубил фразу на древнееврейском. Вновь наступила тишина. Если палестинцы отравлялись в Осло, а потом сразу же в Лиссабон, они знали, что именно на этом ненавистном языке будут сообщать об их передвижениях.

В виллах Джабаль Аммана комнаты были просторными; четыре гостиные: в стиле Людовика XV, Директории, восточном стиле, Модерн; детская обита перкалью, комната няни кретоном. Слуги, кухарки, садовники, лакеи, всевозможная прислуга ночевали в пригороде Аммана, в лагере Вихдат или в двадцати километрах от города, в лагере Бакаа. Специальные автобусы для слуг увозили их по вечерам, они ехали стоя и уже спали, и привозили обратно на следующий день утром, они ехали стоя и еще спали. На ночь оставался один слуга, чтобы утром приготовить к пробуждению хозяев чай и бриоши. В этом мире беженцев хозяева и слуги были на равных. Слово «беженец», ставшее чем-то вроде звания, было равносильно свидетельству на право собственности для владельцев каменных вилл, которые, в отличие от лагерей из латаных парусиновых палаток, могли противостоять ветрам.

«Мы с тобой на равных, я тоже беженец, я выше тебя по положению, мой дом из тесанного камня. Не обижай меня и не огорчай, я беженец, я мусульманин, как и ты».

Перемещаясь взад и вперед – туда и сюда, как сказал мне один из них – из лагеря на виллу, слуги с достоинством несли свою обиду и унижение. 1970 год растревожил всех. Богатые палестинцы на какое-то время уступили собственные спальни слугам. Некоторые, из осторожности, довольствовались едой из буфетной. В сентябре, практически в одночасье, в моду вошла демократия. Сперва украдкой, затем в открытую девушки сами стали заправлять постели, а некоторые даже опорожняли пепельницы в гостиных. А все дело в том, что слуги-мужчины взяли оружие, чтобы быть готовым к битве за Амман. Они стали героями, или мертвыми, что было еще лучше, потому что мученик это лучше, чем герой. По многим причинам эта эпоха должна была именоваться Черный сентябрь.

Многие немецкие семьи захотели дать приют раненым фидаинам, их лечили в мобильных госпиталях, таких, как госпиталь доктора Дитера, с которым впоследствии мне доведется много разговаривать, и я знаю, что в 1971 году в лагере Газа он организовал школу медицинских сестер. Мне довелось там побывать однажды, после того, как он сделал обход раненых и больных. Вместе с ним я вошел в комнату, единственную в доме. Там находились уполномоченный и родители – и отцы, и матери – всех девочек, решивших на-



учиться азам медицинского дела.

Пили, разумеется, чай. Встав перед черной доской на стене, Дитер начал свой урок, начертив крупными штрихами мужское тело со всеми половыми признаками. Никто не засмеялся и не улыбнулся, стояла почти священная тишина. Переводчиком был ливанец. С помощью цветных мелков Дитер показал систему кровообращения. Он нарисовал вены и артерии, одни синим, другие красным цветом. Обозначил сердце, легкие, все жизненные органы, потом местоположение и форму повязок. От сердца, головы, легких, аорты, артерий, бедер он постепенно приближался к мужским половым органам:

– Сюда может попасть пуля или осколок снаряда.

Возле члена он нарисовал пулю. Он ничего не прикрывал ладонью, не понижал голос, не замалчивал. Я точно знаю, что эту откровенность оценили и уполномоченный, и все члены семей. Дитера очень беспокоила нехватка врачей и санитаров – и санитарок тоже – в лагерях.

– За двадцать уроков они узнают главное, но я не смогу им выдать дипломы: таково требование властей. Они будут следовать за фидаинами и заботиться о раненых. Они не отправятся в Амман подавать аспирин и готовить ножные ванны миллиардершам из Джабаль Аммана.

В Рейнской области много палестинцев. Они работают на заводах, хорошо говорят по-немецки, умеют правильно ставить глаголы в конце фразы. Молодые палестинцы, рожден-

ные от матерей-немок, учат арабский, историю Палестины, и всех дюссельдорфских мясников в заляпанных кровью фартуках называют Хусейном.

На военной базе в Аджлуне я увидел сержанта, палестинца, но чернокожего, к которому фидаины обращались если не презрительно, то, по крайней мере, насмешливо. Может, из-за его цвета кожи? Один говорящий по-французски фидаин сказал мне, что, нет, дело не в этом, но почему-то улыбнулся. Поскольку уже наступил рамадан, солдаты разделились: очень набожные, умеренно набожные и те, кому было все равно, последние не ограничивали себя в еде. Зная, что я христианин, однажды вечером сержант разложил на траве салфетку, поставил миску супа, кастрюлю с овощами и предложил мне поужинать, а сам остался стоять рядом, чтя Коран. Я должен был очень быстро сделать выбор: отказаться значило отказать чернокожему, согласиться означало оказаться на льготных условиях; и я выбрал компромиссное решение: поесть, но немного. Впрочем, мне хватало нескольких кусочков хлеба, смоченных в бульоне. За моей спиной стояли два солдата. Когда можно уже было сделать вид, что я сыт, я встал, и сержант велел двум солдатам доесть то, что осталось от моего ужина. Я почувствовал волну жара на щеках и понял, что краснею. Сказать любому сержанту, чтобы фидаины ели вместе со мной, а не после меня и не мои объедки, да, но чтобы такое сказал чернокожий? Главное было

не придавать этому случаю особого значения. Я промолчал. Может, сесть рядом с фидаинами и попросить у них кусок хлеба? Фидаины все поняли, а чернокожий сержант нет, так, во всяком случае, мне показалось.

Когда палестинцы предаются воспоминаниям, видят ли они себя с теми же чертами, жестами, в тех же позах и одежде, что и пятнадцать лет назад? Со спины или в профиль? А может, они помнят себя, не важно, со спины или анфас, но более молодыми, во время какого-то события, которое вдруг всплыло из глубин их памяти?

Под деревьями Аджлуна кто-нибудь из них вспомнил сцену, которую я наблюдал через несколько дней после битвы за Амман? Фидаины соорудили что-то вроде небольшой беседки, крытой листьями, посреди стоял стол, то есть, три плохо закрепленных доски на четырех вбитых в землю ножках – четыре срезанные ветки – и четыре скамейки с четырех сторон стола. Рамадан преподнес нам ожидаемый подарок: распахнутый на запад лунный месяц. Мы, поужинав, сидели возле беседки прямо на траве, сытые, возле еще горячей, но уже пустой миски, слушали аяты Корана. Было около восьми вечера.

– Это человек – чудовище, – сказал мне Махджуб, в тот вечер он казался мне самым голодным из всех. – После Нерона это первый глава государства, который поджег столицу.

Вооружившись остатками национальной гордости, я ответил ему:

– Простите, доктор Махджуб, – еще до Хусейна мы делали это не хуже Нерона. Адольф Тьер, который просил прусских офицеров обстреливать Версаль и Париж с его коммуной, вполне достоин вашего короля, к тому же, он тоже маленького роста.

Взошла Звезда пастухов. Озадаченный Махджуб отправился спать в свою палатку. Десяток бойцов от пятнадцати до двадцати трех лет набились в беседку, где нашлось место и мне. Один из фидаинов встал часовым у дверей. Вошли двое бойцов, совсем еще мальчишки, которые явно казались себе взрослыми и суровыми, потому что под носом уже пробивался пушок. Они, встав лицом друг к другу по обе стороны стола, смирив один другого суровыми взглядами, затем уселись непринужденно и развязно, поддержали брюки, спасая от заломов несуществующую складку. Я сидел на третьей скамейке, внимательный и молчаливый, как мне и было велено. Солдат рядом со мной сунул руку в левый карман пятнистых маскировочных брюк, жестом очень простым и в то же время торжественным вынул оттуда колоду из пятидесяти карт и протянул партнеру, чтобы тот снял. Потом рассыпал карты веером на столе перед ними обоими. Второй игрок завладел колодой, собрал карты, сложил параллелепипедом, перетасовал, как положено, раздал партнеру и себе, оба были серьезны, почти бледны от недоверия друг к другу, губы поджаты, челюсти стиснуты, а их молчание я, кажется, слышу до сих пор. Уполномоченные запре-

щали на базах карточные игры – «буржуазная игра буржуев», как выразился доктор Махджуб. Партия началась. Взгляды игроков светились алчностью, ставку забирал по очереди то один, то другой, силы их были равны. Остальные стояли за спинами игроков, внимательно наблюдая за тем, как открывается и мгновенно схлопывается карточный веер, пытались прочесть карты. Против всяких правил, сидевшие и стоявшие сзади наблюдатели корчили рожи, а игрок напротив старательно притворялся, будто ничего не замечает. Думаю, они играли в нечто вроде ложного покера. Я был восхищен этими напряженными взглядами игроков, тем, как они скрывали возбуждение и тревогу; восхищен той стремительностью, с какой они принимали решение: одна, другая или третья карта, восхищен проворством худых пальцев с такими тонкими фалангами, что было странно: как они не ломаются, когда выигравший переворачивал карты, пододвигая их себе. Один из игроков уронил карту на пол и поднял ее небрежно и медленно, как в кино при съемке рапидом, а его равнодушные и почти презрение, с какими он взглянул на эту карту, навели меня на мысль, что поднял он туза.

«Да он смухлевал», – подумал бы каждый, кто имел хоть какое-нибудь представление об уловках карточных шулеров. Немногие известные мне арабские слова были угрозами и ругательствами. Эти слова:

*“Charmouta”*

которые бормотали сквозь зубы играющие, казалось, мгновенно втягиваются обратно со слюной.

Игроки поднялись, пожали друг другу руки над столом, не улыбнувшись, не обменявшись ни словом. Только в казино Европы или Ливана предусмотрен такой тоскливый, скучный ритуал. А еще в конце теннисных матчей, но в Австралии. Иногда улыбку можно увидеть на лице нарядного проходимца, который снимает карты в длину. Каждая из них, вогнутая или выпуклая, в зависимости от ее местоположения на столе, может стать лодкой, на которой от берега отплывает шулер, или верхней половиной животного с двумя спинами, или распластанной на берегу женщиной с оголенным животом. Если его застают за этой хитростью, крупье приносит новую колоду, а на лице его и во взгляде полная рассеянность, как у человека, забывшего застегнуть ширинку.

Обон – так называется еще одна игра, японская. Это день поминовения усопших, которые на три дня возвращаются к живым. Встав из могил, мертвый являет себя лишь через нарочито неловкие жесты живых, и в этой неловкости я вижу вот что: «Мы живые, мы смеемся над нашими мертвыми, а они не могут даже возмутиться этой насмешкой, они так и останутся скелетами на дне ямы», и это их не-существование дети – главные действующие лица обряда – вознесут и раз-

местят в своих квартирах. «А сами мы останемся на кладбище, мы никого не побеспокоим. И только ваша неловкость делает нас видимыми». Незримых мертвых усаживают на самые красивые подушки, им предлагают лучшие блюда, сигареты с золочеными кончиками, какие курила танцовщица Лиана де Пужи в ту пору, когда ей было двадцать три. А потом дети станут хромать. Говорят, что весь месяц, предшествующий Обону, мальчишки тренируются хромать, чтобы половчее запустить этот отсутствующий труп в траншею, где начинались шествия; останавливаются они внезапно: берцовые кости, черепа, бедренные кости, фаланги рассыпаются и падают, а все живые смеются. Достаточно насмешливого мягкого жеста, чтобы мертвый вкусил немного жизни. Карточная игра, которая проявилась лишь через постыдно реалистичные жесты фидаинов: они играли играючи, понарошку, без карт, без тузов и валетов, без Барабанных Палочек и Мечей, без дам и королей, эта карточная игра напоминала мне, что вся деятельность палестинцев походила на праздник Обон, где не доставало лишь одного – того, кто не должен появляться.

Похоже, наука кричать известна арабам почти так же хорошо, как и искусство рожать стоя, когда женщина с расставленными ногами цепляется за подвешенную к потолку веревку.

– Жан, слышал женщину? Конечно, она арабка. Так кричала бабушка, когда выдирала у моего отца свое наследство.

- А какое наследство?
- Восьмая часть оливкового дерева.
- Это сколько?
- Три с половиной килограммов оливок.

Как мало слов понадобилось Мохамеду, чтобы поведать про свою бедность, зависимость от отца, про этот крик арабской женщины, крик, возможно, дикий, стихийный, но такой высокий и пронзительный, что ему надо учиться с детства. Часового Р’Гибу никто специально не учил этому сигналу тревоги, он сам выучился ему с юности, голос у него резкий и высокий; крик появляется сам собой, если часовой стоит на карауле и ему угрожает какая-то опасность. Очень часто осторожные, осмотрительные сирийцы выпускали такой крик, как и палестинцы, гадающие на картах Таро, когда появляется карта масти Мечей, поскольку все фигуры, кроме семерки Мечей, имеют дурное предзнаменование: один Меч, испытание на прочность; двойка Мечей, сомнение, осуждение; тройка Мечей, отсутствие поддержки, разобщенность; четверка Мечей, уединение или одиночество; пятерка Мечей, поражение; шестерка Мечей, путь, перемены; семерка Мечей – знаменитые Семь Мечей<sup>14</sup>; единственная фигура, которую принимают с благодарностью; восьмерка Мечей, преграда, ограничение; девятка Мечей, неудача, безысходность; десятка Мечей, отчаяние, слезы, поражение,

---

<sup>14</sup> Мария Семь Мечей – персонаж из «Сатиновых башмаков» Поля Клоделя. Семь скорбей, которые выпали на ее долю.



а крик, не грозный, скорее, удрученный, отнюдь не походил на крик радости, каким встречали появление Жезлов, мастей счастливых.

В лагере Бакаа мстили за унижение. Японцы, итальянцы, французы, немцы, норвежцы были первыми операторами, звукооператорами, фотографами. Легкий воздух сгустился и стал тяжелым. Те, кто сами становились звездами, если фотографировали звезду – а здесь такой звездой был каждый палестинец в пятнистой маскировочной униформе и с калашниковым – хватали и не выпускали свою добычу. Японцы с их почти не наигранной нервозностью обитателей озлобленного архипелага по-английски грозились вернуться в Токио безо всяких снимков, даже не подозревая, что в каких-то десяти километрах тренируются те самые террористы Лодзи, а в карманах штанов у них карты Израиля и планы аэропорта; а какого-то фидаина французы раз двенадцать просили принять определенную позу. Три коротких слова, сказанные доктором Альфредо, прекратили эту комедию. Чтобы продемонстрировать свое владение искусством съемок с низкой точки, итальянцы велели солдатам вскинуть автомат к плечу, предварительно вынув патроны, быстрым движением бросались на землю и так фотографировали фидаинов; и в этом веселом беспорядке не последнюю роль играл реваншистский дух. Фотографа фотографируют редко, а фидаина часто, но если он позирует, то скорее умрет от

скуки, чем от усталости. Некоторым кажется, что вокруг человека, которого фотографируют, почти физически ощутимо одиночество, а у него просто такой изнуренный, изможденный вид, легко ли вынести назойливый танец фотографа? Зачем этот швейцарец заставил самого красивого фидаина взгромоздиться на перевернутое ведро? Неужели ради красивого снимка: силуэт на фоне заходящего солнца?

Когда у власти сила, которую по законам этимологии следовало бы назвать посредственностью, сам собой устанавливается так называемый порядок, то есть физическое и умственное истощение.

Причина предательства – и любопытство, и помутнение рассудка.

А что если написанное, и вправду, было бы ложью? Позволило бы оно скрыть то, что существовало на самом деле, коль скоро любое свидетельство не что иное, как обманка, оптическая иллюзия? Не то чтобы написанное противоречило действительности, нет, оно просто показывает лишь видимую сторону, да, вполне приемлемую и, если можно так выразиться, бессловесную, ведь способов показать на самом деле, что стоит за этой видимостью, у него, написанного, нет. Различные сцены, в которых появляется мать Хамзы, в каком-то смысле *пусты*, да, они сочатся любовью, состраданием, дружескими чувствами, но как в то же время передать все противоречивые суждения других свидетелей этих

же сцен? Точно так же и с прочими страницами этой книги, у которой будет один-единственный голос, мой. А мой голос фальшив, как и все голоса, и даже если читатель заметит эту фальшь, то не поймет ее природы. Пожалуй, вот единственно подлинные вещи, заставившие меня написать эту книгу: орешки, которые я собирал в изгородях Аджлуна. Но эта фраза хотела бы заслонить всю книгу, как и каждая фраза хотела бы заслонить предыдущую фразу, и оставить на странице лишь одну ошибку; я так и не сумел описать достаточно тонко то небольшое, что происходило, это слишком тонко даже для моего понимания. К Хишаму никто не относился с почтением, ни старики, ни молодые. Не то чтобы он ничего из себя не представлял, просто он ничего не делал, и никто не обращал на него внимания. Однажды, когда у него заболело колено, он записался на прием к врачу, пришел и получил четырнадцатый номер, а пятнадцатый был у одного фидаина, командира подразделения. Приняв тринадцать пациентов, доктор Дитер вышел со списком, назвал его номер и произнес имя. Хишам едва понял, что речь идет о нем, настолько он был взволнован, что сам доктор назвал его по имени. Он указал пальцем на фидаина, чья очередь была следующей, пятнадцатой, но доктор Дитер возразил:

– Нет, сначала ты, у тебя болит колено.

Командир фидаинов велел Хишаму пойти перед ним. Что Хишам и сделал. Мне рассказывали, что после того дня Хишам преисполнился уважением к себе – ведь немецкий док-

тор захотел, чтобы он прошел первым. Не то чтобы он воспринял это как повышение в звании, но после того, как командира-фидаина, пусть на мгновение, отодвинули в сторону, Хишам возгордился. Продолжалось это недолго. Стушевался он довольно быстро, потому что командиры забывали отвечать на его приветствие. В лагере Бакаа нет места гордыне.

Стоя под деревьями возле беседки, десятков фидайнов, безразличные к игре, ждали своей очереди бриться. Видно было, что они устали, но в то же время как-то спокойны и расслаблены. Церемония бритья долгая и основательная. Сначала каждый должен принести немного сухих веток. Зажигали огонь и кипятили воду в старой консервной банке. Конечно же, если бы у целой команды было одно нормальное зеркало, все они могли бы бриться самостоятельно, но зеркальце они держали в ладони, и потом, это был отдых, своеобразная порция вечернего отдыха для каждого: отдать свою бороду и все лицо в руки одного фидaina, которого называли брадобреем. Ладонь, дружеская или равнодушная, но не твоя собственная, ласкала щеку и подбородок, проверяя, остались ли волоски, так зарождалась волна, идущая до самых кончиков пальцев уставших ног, успокаивая и умиротворяя все органы тела. Бороды брили по очереди. Эти процедуры происходили, как правило, от восьми до десяти вечера, три раза в неделю.

Но при чем тут карты?

– Я даю им полную свободу.

Ночью мы прогуливались с Махджубом под деревьями.

– Надеюсь, они свободны.

– Я запрещаю только игру в карты.

– Но почему именно карты?

– Палестинский народ хотел революцию. Когда он узнает, что на базах Иордании есть игорные дома, то решит, что вот-вот появятся бордели.

Защищая эту игру, которая лично меня никак не привлекала, я сожалел, что Махджуб единолично решил запретить это развлечение.

– Во время игры часто бывают потасовки.

Шахматные турниры, которые я привел в качестве примера непримиримой борьбы Советского Союза и государств Запада, его не убедили. Махджуб сухо распрощался со мной и пошел спать. Фидаины знали о его запрете. Разыгранный передо мной спектакль свидетельствовал об их разочаровании, ведь играть в карты одними жестами, когда в руках могли бы быть короли, королевы, валеты, все эти фигуры, символизирующие власть и полномочия, в этом было что-то неестественное, сродни шизофрении. Играть в карты без карт каждую ночь: мастурбировать всухую.

Здесь я должен предупредить читателя, что воспоминания мои точны, когда дело касается фактов, событий, дат,

а вот разговоры приходится восстанавливать. Еще какое-нибудь столетие назад обмен репликами принято было «описывать», признаюсь, я отдал дань той эпохе. Диалоги, которые вы читаете, – просто их реконструкция, надеюсь, реконструкция достаточно точная, но я знаю, что они лишены простодушия настоящего диалога, здесь видна более или менее ловкая рука Виолле ле Дюка, основоположника архитектурной реставрации. Только не подумайте, будто я недостаточно уважительно отношусь к фидаинам. Я стараюсь передать тембр, интонацию голосов и слов: мы с Махджубом, действительно, вели такой диалог, он такой же подлинный, как эта игра в карты без карт в руках, но сама игра четко воспроизведена жестами, мимикой, движением ладоней и пальцев.

Хотелось бы знать: благодаря особенностям своего возраста или ввиду отсутствия способностей, когда я воспроизвожу некое событие, каким вы меня видите: какой я есть сейчас или таким, каким был тогда? И кого рассматривает тот незнакомец, на которого я смотрю со стороны с любопытством, с каким обычно разглядываешь себя самого, кого же: того, кто уже умер? и сколько ему лет: столько, сколько сейчас, или сколько было на время тех событий? И вообще, что это: привилегия моего возраста или несчастье всей моей жизни – видеть себя со спины, ведь всегда, каждое мгновение я стоял спиной к стене?

Мне кажется, только сейчас я понимаю некоторые события и поступки, которые удивляли меня тогда, на берегу

Иордана, стоящего лицом к Израилю, понимаю отдельные события и поступки – в подлинном значении этого слова, как обособленные, недоступные и неприступные островки, чьи очертания смущали и волновали меня, а теперь это единый сияющий архипелаг. В Дамаске мне было восемнадцать.

Игра в карты по-арабски весьма отличается от той, в какую играют французы или англичане. Сегодняшняя игра по-арабски походит, скорее, на испанскую, наследие ислама, оставшееся в пальцах мальчишек, играющих в Ронду, популярную в Марокко карточную игру. Махджуб в Иордании, однорукий генерал Гуро в Дамаске запрещали карточные игры по разным – как им казалось – причинам. Гуро, похоже, беспокоили тайные, стало быть, антифранцузские сборища. По ночам в маленьких мечетях Дамаска, освещенных огарком свечи или смоченным в масле фитиле, сирийцы играли в карты. Я словно сейчас вижу, как рядом с ними на корточках сидит французский солдатик. Должно быть, мое присутствие их успокаивает. Если какой-нибудь сбившийся с пути патруль, удивленный неурочным светом, вдруг застанет их за этим занятием, моей задачей будет объяснить, что мы здесь благоговейно молимся за Францию. После игры сирийцы – им хотелось удостовериться, что я их не забуду – неизменно демонстрировали мне развалины, причем генерал Гуро запрещал расчищать завалы, чтобы каждый житель Дамаска вечно дрожал от страха. Поутру, в час утренней молитвы, игроки расходились по домам, держась за мизинцы или ука-

зательные пальцы. Я вновь вижу Мечи и семерку Мечей.

Среди весьма немногочисленных членов ФАТХа, которых я знал, имелось восемь человек по имени Халеб Абу Халеб. Какое впечатляющее изобилие боевых кличек. Поначалу целью всех этих вымышленных имен было скрыть истинную личность воина, теперь же они, наоборот, украшают их. Выбор вымышленного имени позволяет угадать их самые потаенные фантазмы, например, такие имена, как Чевара – сокращенное Че Гевара, Кастро, Лумумба, Хадж Мухамед. Каждое имя было маской из очень тонкой, иногда прозрачной материи-покрывала, под которой имелось другое имя – другая маска – из другой материи, или такой же, но другого цвета, а за ней проступало отражение еще одного имени. За Халебом угадывался какой-нибудь Милуди, который, в свою очередь, не слишком скрывал Абу Бакра, а за Абу Бакром уже виднелся Кадир. Все это наслоение, напластование имен соответствовало наслоению личностей, за которыми скрывалось существо иногда простодушное, но чаще непонятное и очень усталое. В этом случае имя было, возможно, именованьем некоего деяния, благовидного здесь, осуждаемого там. Эту видимость я принимал с той же готовностью, что и реальность, и неведение было мне в помощь, а когда мне случалось вдруг узнать первое, изначальное имя, я чувствовал внутри какое-то раздражения. Что же касается двух этих слов: видимость и реальность, сколько об этом можно сказать! Имена, порой придуманные, отражения искаженных



воспоминаний об американских фильмах, имена, за которыми пытались скрыть те самые осуждаемые, постыдные деяния, мне казалось, я до сих пор слышу их отголоски во фразах персонажей, населяющих воображение народов-мятежников. Чьи они?

«Чтобы воевать с вами, я вступил бы в союз с самим дьяволом».

«Кто соглашается обедать с дьяволом, должен запастись большой ложкой».

«Свободу не выпрашивают, ее вырывают силой».

«Мы устроим два, три, четыре, пять, десять Вьетнамов».

«Мы проиграли битву, но не войну».

«Я не смешиваю американский народ, который люблю и которым восхищаюсь, с реакционным правительством этого народа».

У всех этих поговорок есть автор, не всегда очевидный. Четвертое высказывание принадлежит Че Геваре, авторство третьей приписывают Абд аль-Кадиру и Абд аль-Кериму, вторую фразу могли бы сказать Черчилль, Сталин или Рузвельт. Первое высказывание приписывается Лумумбе, но присвоил ее себе Арафат, поэтому Халеб сказал мне:

– Ведь Израиль был для нас дьяволом, с которым мы должны объединиться, чтобы победить Израиль.

Мне показалось, что фраза была произнесена практически слитно, на одном дыхании, без пауз, и только в самом конце какой-то вдох, похожий на заключительный смешок.

Ее и нужно было воспринимать так, как она себя подает, как хотите, так и понимайте.

Вполне обычный, банальный образ мог бы поспорить своей тривиальностью с рекламными объявлениями в парижском метро. Вот, например:

«Словно огненные языки, перекликались призывы, боевые клички и песни. Тот, кому в ту пору было двадцать, видел, как планету поглощают, облизывают эти языки пламени, так вечно юные огни уничтожили заглавную букву Р в слове Революция, не оставив следов ожога».

Прежде всего, я увидел, что «каждый народ», стремясь оправдать мятеж, пытался отыскать свою самобытность далеко в глубине веков, в самой сокровенной глубине; в истоках каждого мятежа обнаруживались генеалогические глубины, и главная сила была не в ветвях этого дерева, хотя бы и потенциально возможных, скрытых ветвях, а в его корнях, так что все эти мятежи, восстания, революции, возникающие на земле повсюду, казалось, прославляли какой-то невероятный культ мертвецов. Откапывали, словно эксгумировали какие-то слова, фразы, целые языки. Так, в Бейруте, когда я остроумно ответил какому-то ливанцу, он сказал мне с улыбкой, почти нежно:

- Вы стали истинным финикийцем.
- Почему финикийцем? Почему не арабом?
- Арабом – нет. Мы сами перестали быть арабами после вторжения Ливана в Сирию (в 1976). Сирийцы – арабы, а

ливанцы – христиане, «финикийцы».

Самое юное поколение состояло из людей-кротов. После двух тысячелетий жизни на поверхности планеты, после путешествий верхом, пешком, по морю, по подземным лабиринтам, – вернуться в то место, где то тут, то там вырастают взрытые кротами бугорки земли, разыскивать руины некоего храма, отыскать их, ну и зачем? Вульгарны не сами поиски, а эти попытки идентификации одного народа с другим, его корнями и его ветвями, мне казалось это – не говоря уже о сомнительных результатах – по-парижски пошлым, какими-то поверхностным, салонным. Только умственная леность заставляет нас думать, будто благородное происхождение – это дворянские предки. Палестинцы, когда мне довелось их узнать, к счастью, избежали этого убожества. Похоже, опасность состояла в том, что в Израиле они видели некое «сверх-Я».

В 1972 году битвы за лагерь палестинских беженцев Тель-Заатар еще не было. Она произойдет в 1976, но над самым лагерем палестинцы показали мне казармы фалангистов. Части этой книги озаглавлены «Воспоминания», я должен провести читателя через время и, разумеется, пространство. Пространством будет вся планета, а время, допустим, годы с 1970 по 1984.

Полиция Пьера Жмайеля, скопированная с гитлеровских

«Штурмовых отрядов», называлась фалангой, по-арабски «Катаиб». Черные, коричневые, синие рубашки – знаменитая «Голубая дивизия», которая погибала от холода в сказочных снегах белой России, зеленые, серые, железные рубашки... “Задумчивое тряпье флага<sup>15</sup>” стало для меня “Полотнищами...”. Крепкие парни, фалангисты 1970 года шагали в ногу и как доблестные воины пели гимны во славу Непорочного Зачатия. Они очаровывали и завораживали меня. По их глупости я догадывался, насколько они жестоки. У этих солдат, полухулиганов-полумонахов, марширующих чеканным шагом с выставленным вперед подбородком, песни (какой-то трепетный музыкант поменял темп, чтобы добиться большей торжественности, свойственной неумолимому шествию в бессмертие) вырывались из толстогубых, негроидных ртов, глупые, как и они сами. Наверное, Деве Марии, небесам эти песни должны были внушить страх перед стремительным, мощным десантом мертвецов – почти подростков. А еще – как же она была трагична, мнимая мужественность этих молодых парней, воспевающих нежность незримой богини, а может, какой-нибудь бойкой девицы, что брела, пьяно пошатываясь, хранима венцом из белых роз. Эти идущие размеренным шагом силачи показались мне фантастическими, нереальными, и уже – обитателями небесного свода, куда они, и в самом деле, направлялись.

«Они шли воинственно». Хотя война это вовсе не воин-

---

<sup>15</sup> Искраженная цитата из стихотворения Малларме. (Прим. перев.)

ственное шествие, возможно даже, как раз воины и не умеют маршировать. Просто этой фразой мне хотелось облагородить тяжелую, несколько театральную – если судить по Бейрутскому оперному театру – поступь фалангистов, таково было требование их командира, как раз ему и нужна была эта старомодная театральность, потому что хотя сам он никогда не маршировал, то думал именно в двухтактном размере мерного шага.

Оба сына продавца газет ответили мне сразу же. Они были фалангистами и, разговаривая со мной, трогали, нет, не просто трогали, а крепко сжимали золотые медальоны с изображением «Лурдской Богоматери» – малиец, которого я как-то встретил на берегу Нигера, так же трогал свой амулет (несколько магических слов, начертанных по-арабски на очень тонкой, возможно, на папиросной бумаге, в красном шерстяном чехольчике.

– Почему ты это трогаешь?

– Он напоминает мне, что нужно прочесть утреннюю молитву.

Когда фалангисты, дабы сберечь свою силу, трогают крест и образ Богородицы – особенно если они выгравированы – рельефно, в золоте, что они на самом деле трогают: Крест, Богородицу, Золото или фаллос мира? – они, если и убивают, то не по своей воле, а по приказу Бога, который защищает свою мать, сына и золото, дар волхва, по приказу военного Бога, который стремительно приходит нам на помощь, дабы

повергнуть Другого, угрожающего ему: Аллаха. В 1972 году при мне один фалангист обнял молодую ливанку. Меж двух ее загорелых грудей – эти груди изобличили ее: она обнажала их, принимая солнечные ванны – сверкал золотой крестик, усыпанный бриллиантами и рубинами, только вместо Христа там была привинчена черная яйцеобразная жемчужина. Рот молодого человека захватил украшение, и язык ласкал кожу груди. Девушка смеялась. Три фалангиста по очереди склонили головы перед этим причастием. Девушка непри-  
нужденно произнесла:

– Иисус вас хранит, а его Мать дарует нам победу.

И, произнеся это благословение, целомудренно удали-  
лась.

Франсиско Франко царил. Чтобы добраться до монастыря Монсеррат, мне пришлось карабкаться по холмам и утесам, идти по полям спелой ржи. С церковных колонн свисали хоругви вишневого шелка, расшитые золотом или тем, что в наши дни, благодаря своему мерцанию, наводит на мысль о золоте; красный цвет – цвет убранства Церкви на Троицу, это было совместное богослужение. Осмотревшись с некоторым волнением – позже станет понятно это волнение перед встречей с Хамзой и его матерью, когда черная Богородица демонстрировала своего мальчишку: как черный хулиган трясет черным фаллосом, так Дева Мария потрясала своим черным хулиганом – я нашел свободное место на скамье. В

церкви было много мужчин и женщин в трауре. Большинство прихожан молодые. На Аббате, наследнике Хименеса де Сиснероса<sup>16</sup> и двух его служках, вишневое облачение. Хрупкие и ломкие, еще не устоявшиеся детские голоса выводили мессу Палестрины, во время которой я не мог отрешиться от мысли, что первые шесть букв этого имени совпадают с названием Палестины. Потом стали христосоваться: после возношения даров Аббат в обе щеки расцеловал служек, а они в свою очередь – каждого из монахов, сидящих на креслах со спинкой. Два мальчика из хора открыли решетку, и Преподобный вышел к прихожанам. Он расцеловал многих из нас – я оказался одним из тех, кто позволил себя поцеловать, но не передал поцелуй дальше, так что цепь братства оказалась мною прервана. Духовенство, спустившееся с хоров в центральный неф, прошествовало к дальним дверям. Прихожане, мужчины и женщины попеременно, пошли за нами, я тоже. И тогда для меня одного случилось что-то вроде чуда: словно сами собой открылись двери, казалось, каждую створку толкнул кто-то снаружи, в общем, произошло противоположное тому, что бывает на Вербное воскресенье, когда духовенство, выйдя из дверей ризницы, три раза стучало в главные двери – напоминание о входе Мессия в Иерусалим, спрашивая дозволения проникнуть в центральный неф.

---

<sup>16</sup> Кардинал Франсиско Химéнес де Сиснэрос (исп. Francisco Jiménez de Cisneros; 1436 – 8 ноября 1517) – глава испанской церкви, великий инквизитор. (Прим. перев.)

Теперь же, на Троицу, двери открылись снаружи вовнутрь, а сзади, в освещенном приделе, они словно дожидались Аббата с его жезлом и всем духовенством, которое желало выйти. Сразу за папертью расстилалась сельская местность. С победоносным видом процессия шла по полю пшеницы, по полю ржи, шла далеко к скалам, через которые около 730 года так и не осмелились перебраться первые испанские сарадины. Все давно уже пели «Приди, Создатель». И тогда я вспомнил, что «Приди, Создатель» поют не только на Троицу, но и на венчание. Монахи и служки окропили процессию святой водой. Аббат благословлял ее одной рукой, средним и указательным пальцем. Он пел, надрываясь изо всех сил. Толпа была безумна, вот-вот забьется в иступлении. Немного дождя, хоть несколько капель, какое это было бы облегчение. Вокруг расстилалась залитая солнцем каталанская равнина, плоская и слегка выгнутая, как любое ровное пространство в Испании. Должно быть, Бог, создавая небо и землю, очень веселился, когда ваял эти красные фаллические горы, которые Аббат благословил, как и поле пшеницы. Полуденное солнце пылало. Решительно повернувшись спиной ко всей этой природе, посреди которой и для которой поднялась и звучала, ведомая за собой нашим пастырем, эта свадебная песнь, грегорианский хорал, мы вернулись в церковь, и возвращение в этот сумрак было нечто большим, чем просто вхождением в Храм, это было вхождением в лесную ночь, туда, где при свете луны нас поджидали высокие деревья, мел-



кая поросль и поляны. А юноши и девушки, вставшие в круг в лесу, в полночь, при лунном свете, они собрались здесь, чтобы молиться или объединить свои силы для проклятия, ведь все в исламе подчинено лунным циклам? По-христиански ли вставать новобрачным вовнутрь Полумесяца? Даже не знаю, с чем сравнить мое волнение. Здесь был кто-то еще, кроме Всевышнего. Какой страх мог бы сравниться с этим страхом: «Белая гора надвигалась на меня?» или: «Клоун Грок вышел на середину арены и достал из штанов детскую скрипочку?» или: «Рука полицейского опустилась мне на плечо. И рука эта нежно говорила: «Ты попался».

Слово «многобожие» резонирует в любом обществе, словно вызов. Слово атеист слишком близко к христианскому морализму, христианскому, но там, где Христос сводится к единственному шипу из его царственного божественного венца; а многобожие заставляет язычника погрузиться в глубь веков, ту самую, которой дали насмешливое прозвище «тьма веков», когда Бога еще не существовало. Некое хмельное упоение и великодушие позволяет язычнику подходить ко всему и ко всем с таким же почтением, как и к самому себе, не унижая и не принижая себя. Подходить. Возможно, созерцать. Наверное, язычеству я дарую больше, чем то, на что оно может претендовать и, похоже, в предыдущих строках я уподобил его анимизму, свойственному первобытным народам. Воскрешая в памяти эту церемонию, я пытаюсь объяс-

нить, из какой пещеры я вышел, в какой пещере я оказываюсь порой из-за какого-нибудь мимолетного переживания.

В «Ревю д'Этюд палестиньен»<sup>17</sup> мне хотелось описать, что осталось от лагерей палестинских беженцев Сабры и Шатилы после того, как фалангисты провели там три ночи. Одну женщину они распяли заживо. Я потом видел ее тело, с раскинутыми руками, облепленное мухами, особенно много мух было на тех местах, где раньше находились пальцы: мухи прилепились к десяти сгусткам запекшейся крови, ей отрезали фаланги, возможно, отсюда и их название? – подумал я тогда. В тот самый миг и на том самом месте, в Шатиле, 19 сентября 1982 года, мне показалось, что все это было какой-то игрой. Отрезать пальцы секатором – как садовник подрезает тис – эти шутники-фалангисты были просто веселыми садовниками, которые из английского парка хотели сделать французский. Это первое впечатление улетучилось, как только мне удалось немного придти в себя, и я мысленно прожил совсем другую сцену. Ветки и пальцы отрезают не просто так, безо всякой причины. Когда женщины слышали выстрелы сквозь закрытые, но с разбитыми стеклами окна, когда увидели лагерь в зареве осветительных ракет, они почувствовали себя в западне. Содержимое шкапулок с кольцами они вывернули на столы. И каждая женщина, словно перед нагрянувшим неожиданно праздником, нацепила все

---

<sup>17</sup> «Revue d'études palestiniennes» – книга Жана Жене. (Прим. ред.)

свои кольца на пальцы — все десять, включая и мизинцы, а может, и по пять-шесть колец на палец. Они пытались бежать, надев на себя все золото? Наверное, одна из них, полагая, что разжалобит этим какого-то пьяного солдата, сняла с указательного пальца дешевое колечко с поддельным сапфиром. Уже и без того пьяный, но еще больше опьяневший от вида драгоценностей, желая как можно быстрее отправиться дальше, фалангист своим ножом (или найденным возле дома секатором) отрезал пальцы до первой фаланги, потом положил их в карман штанов.

Пьера Жмайеля в Берлине принимал сам Адольф Гитлер. То, что он увидел — юные мускулистые блондины в коричневых рубашках — определило его решение: у него будет своя милиция, созданная на базе футбольной команды. Христианин, но ливанец, он терпел насмешки от христиан, у которых сила заключалась лишь в финансах. Насмешки маронитов вынудили Пьера и его сына Башира объединиться с израильтянами, а фалангистов применять жестокость, которая есть отражение силы, более действенной и уместной здесь, чем обычная сила. Ни Пьер, ни его сын не сумели бы управлять, не будь у них покровителя: Израиля, и у жестокого Израиля тоже был свой покровитель: США.

Так я лучше узнавал фалангистов, которые целовали крестики в ложбинке между грудями, удерживали во рту медальон с изображением Богородицы, подвешенный на золотой

цепочке, толстыми губами лобзали руку Патриарха и благочестиво мастурбировали рукояткой золоченого Жезла.

Я поднял глаза и пристально посмотрел на «Пресуществление Святых Даров» в монстранции, где торжественно и смиренно, но неизменно и непреложно являл себя «хлеб». Церковь, сколько личных кораблекрушений...

Неслись вскачь магометанские скакуны. Может, они спасались бегством? Вслед за Аббатом мы вошли в церковь. Черная Дева и ее черный Иисус приняли привычные позы, но тогда, на Троицу, почувствовал бы я это восторженное состояние, если бы в Барселоне не усадил в свое такси двадцатилетнего марокканца, который оставался со мной на протяжении всех религиозных обрядов? Тот изначальный поцелуй, дарованный Аббатом на хорах церковного придела, поцелуй, что множился, словно хлеб, раздаваемый назарянином на берегу озера, он раскрывался, как раскрывается бутон, отделяя свои лепестки, и каждый лепесток, отсоединяясь от венчика, все равно оставался этим изначальным поцелуем, а напомнил мне поцелуи, которые глава Каинова племени дарил – в порядке убывания – шестнадцати именитым.

«Каждому по его заслугам». А самый именитый из шестнадцати удостоился, возможно, одного-единственного поцелуя. Поскольку я не знал вообще ничего, то не знал и смысла этой прогрессии: может быть, единственный поцелуй был знаком самого высокого почитания – от шестнадцати до

Единственного?

В темноте, перед самым рассветом, в январе 1971, то есть, через четыре месяца после «Черного Сентября», три группы фидайнов в конце долгого перехода с одной базы на другую пели, перекликаясь через холмы. А в перерыве между песнями я слушал утреннюю тишину, ее напряженность и плотность была соткана из всех дневных звуков, еще не успевших прозвучать. Моя группа находилась ближе всего к Иордану. В перерыве я пил чай, пил шумно, потому что было жарко, и еще так было модно: пусть все слышат это наслаждение языка и нёба, ел оливки и пресный хлеб. Фидайны переговаривались по-арабски и смеялись, не ведая, что недалеко отсюда Иоанн Креститель когда-то крестил Иисуса.

Перекликались три невидимые друг другу вершины – как раз в это время или чуть позднее Пьер Булез сочинял свои «Респонсории», солнце еще не взошло, но на востоке уже подкрашивало синим черное небо. А неокрепшие голоса четырнадцатилетних львят всерьез пробовали свои силы: ради собственно эстетического удовольствия, и чтобы полифония заиграла всеми красками, потому что все, как правило, пели в унисон, а еще чтобы доказать свою зрелость во всем, свой боевой дух, отвагу, мужество, а может быть, свою любовь к героям – так они целомудренно давали им понять, что достойны их. Одна группа молчала, дожидаясь, когда две другие, невидимые им, ответят в унисон, но по-разному, каждая

из трех в своей манере. Гармония нарушалась лишь в некоторых пассажах, когда какой-нибудь ребенок-воин брал на два – два с половиной тона выше, для особых трелей и только в тех пассажах, какие выбирал сам, и тогда хористы замолкали, словно расступались, давая дорогу старейшине. Этот контраст между голосами подчеркивал контраст между земным царством, государством Израиль, и землей без земли, с ее единственной опорой: бессловесным пением палестинских солдат.

«Так эти мальчики были воинами, солдатами, фидаинами, террористами, которые отправляются во все точки света, тайно ли в ночи, утром или при свете дня, чтобы подложить бомбу?»

Между строфами перекликающихся через холмы песен, казалось, наступала полная тишина. Но мгновение, и сквозь эту тишину словно просачивался четвертый голос, голос ручья, очень близкого или далекого, я так никогда и не узнал; этот голос воды, которая журчала между двумя холмами и двумя хорами так, что казалась мне прозрачной и чистой, осторожно прокладывал себе путь. И только между пятой и шестой строфами голос возвысился, наполнив долину. Словно тонкая струйка воды перетекла в тонкий голосок, потом он охрип и набух, сделавшись властным и грубым, прогнав детские и серьезные голоса. Мне показалось нелепым и абсурдным, что этот диктатор заставил замолкнуть влюбленных, но, возможно, они так и слышали ни ручья, ни бурно-

го потока.

Ночь не была уже такой темной: я различал стволы деревьев, ранцы, ружья. Если взгляд мой привыкал к сумрачной громаде ночи, то, всмотревшись пристальней, на месте этого пятна я мог уже разглядеть длинную черную аллею, а в глубине аллеи что-то вроде перекрестка, откуда расходились другие аллеи, еще более черные. Любовный призыв исходил не от голосов, не от вещей, не от меня самого, но от композиции природы в ночи, как зачастую сам пейзаж при свете дня дает приказ любить.

Отобранные и симпровизированные ребенком – ведь конец песни был импровизацией – эти вокализы без согласных казались пронзительными, как будто три Королевы Ночи с едва пробивающимися усами, в пятнистой маскировочной форме отошли от лагеря и потерялись, а утром нашлись в выразительном вибрато, с уверенностью, дерзостью, холодностью оперных прим, забывших о своем оружии, о форме и солдатском уставе, между тем как автоматная очередь из Иордании могла навсегда заставить их замолчать выстрелами более точными и столь же гармоничными, как их песня. Может, они, эти Королевы, верили, будто маскировочная форма делает неслышимой их песню, или язык и музыка излучают инфразвуки?

Из глубин памяти возникла легенда об Антаре, арабском поэте и герое доисламской эпохи. Напомню ее: Антара, всадник двадцати четырех лет, стоя в стремях, пел об

умершей возлюбленной, о нежности родного дома. Натянув лук, какой-то слепой, ориентируясь лишь на голос, пустил стрелу и убил героя, попав тому в пах. Мертвые глаза не нужны, мишенью стал голос Антары.

Голоса, по крайней мере, тем утром, были такими же настоящими, как звуки гобоя, флейты, флажолета, такими подлинными, что можно было почувствовать запах дерева, из которого сделаны инструменты, догадаться о направлении древесных волокон, такие же подлинные звуки, как и звучание инструментов в «Истории солдата», которые я узнал в собственном голосе Стравинского, чуть надтреснутом, столь приятном слуху. Кажется, я вспомнил, что эта шероховатость гортанных арабских согласных, когда гласные выпадают вообще, а согласные удлиняются, придавала голосам такое бархатистое звучание.

На востоке светло: опережая солнце, над холмами вставал рассвет. Я стоял у подножия хорошо мне знакомой старой оливы.

Мы опять обошли холм, все тот же самый, а я-то думал, что мы прошли уже несколько холмов. Это была довольно примитивная военная хитрость: пусть противник верит, будто палестинцев много и они повсюду. Почти уже десять лет палестинцы использовали такие абсолютно бессмысленные, но отвлекающие маневры, зачастую красивые, иногда опасные, и эти маневры улавливались сверхчувствительной израильской аппаратурой.



На мой вопрос:

– Какую песню вы поете? Халеб ответил мне:

– Каждый свою. Тему задает первая группа, второй становится та, что быстрее ответит, третья посылает первой ответ-вопрос, ну и так далее.

– И все-таки о чем в ней говорится?

– Ну... о любви, конечно. И немного о революции.

Я сделал еще одно открытие: голоса, модуляции, тональность были мне очень близки. Впервые в моей жизни арабская песня свободно лилась из ртов и легких, ее подхватывало живое дыхание, которое всякие механизмы – диски, кассеты, радио – убивали с первой же ноты.

Утром, совершенно забыв о смерти, которая подстерегала повсюду (я говорю о смерти певцов, воинов-артистов, чьи тела могли разложиться уже под полуденным солнцем), я услышал великую музыкальную партию, симпровизированную прямо здесь, на горных тропах, в минуты опасности.

Не будем повторять всем известный факт, что память – вещь ненадежная. Безо всякого злого умысла она искажает события, даты, навязывает собственную хронологию, забывает или видоизменяет то, что в ней сохранилось, сказанное или написанное. Она превозносит случайное: каждому гораздо интереснее оказаться свидетелем событий редких, о которых никто прежде не слышал. Тот, кто узнал исключительный, необычный факт, словно сам проникается этой ис-

ключительностью. Всякий автор мемуаров хотел бы остаться верным своему начальному выбору. Лишь находясь очень далеко можно увидеть: за линией горизонта банальность совсем такая же, как та, что рядом! Мемуарист хочет показать то, что никто в этой банальности не разглядел. Мы самоуверенны: нам хочется дать понять, что наше вчерашнее путешествие стоило того, что мы написали этой ночью. Такие спонтанно музицирующие народы встретишь нечасто. Ведь у любого народа, в любой семье есть свой певец и, не признаваясь в этом себе, мемуарист хочет стать певцом самого себя, и в нем самом разыгрывается эта невероятно ничтожная, но нескончаемая драма: написал бы Гомер свою «Илиаду» без разгневанного Ахилла, или что узнали бы мы о гнев Ахилла, если бы не Гомер? А если бы Ахилла воспел какой-нибудь посредственный поэт, у него тоже была бы эта короткая, но славная жизнь, а не длинная и спокойная, дарованная Зевсом? Английские аристократы и механики умеют насвистывать Вивальди и все песенки воробьев и прочих английских птишек. Палестинцы сочиняли свои песни, как будто те были забыты, а затем заново найдены в них самих, они были в них спрятаны, пока не пришло время их спеть, и всякая музыка, даже самая новая и современная, мне кажется не сочиненной, а найденной, проявившейся там, где была погребена в памяти, покоилась – особенно мелодия – еще неслышимая, но уже записанная на звуковых дорожках тела, а новый композитор дает услышать песню, которая издавна

заключена во мне, хотя я ее и не слышал.

Через несколько дней после того памятного утра я вновь увидел Халеба. Мне показалось, я узнал его голос в одном из хоров трех холмов. Какие темы выбрал он? Он сказал мне, улыбаясь:

– Я через месяц собираюсь жениться, и два других холма смеялись над моей невестой. Говорили, что она некрасивая, необразованная, глупая, горбатая, я ее защищал, а когда свершится революция, я их упрячу в тюрьму.

Он снял с плеча мушкетон и поставил его прикладом вниз к тем, что уже стояли на траве. Под усами блестели зубы.

Я писал это в феврале 1984, то есть, через четырнадцать лет после песен на холме. Я никогда ничего не записывал на дорогах, на базах, где-нибудь еще. Я пишу о событии, потому что был его свидетелем, и потому, что оно так сильно подействовало на меня и надолго оставило след: думаю, вся моя жизнь выткана такими и еще более важными событиями.

– А почему не прямо сейчас?

– Ты же знаешь, у нас нет тюрьмы.

– Есть прицепной тюремный вагон.

– Но мы должны действовать по плану.

– И что?

– Они мне ответили, солнце уже встало, утреннюю молитву спели, они мне сказали: а ты что делал тайком с Хусейном и Голдой<sup>18</sup>...

---

<sup>18</sup> Голда Меир – израильский политический и государственный деятель, 5-й

– И что?

– А я им опять про тюрьму.

– А они?

– Они мне сказали, что пели про свой холм, он называется

Невеста.

Он помолчал, еле заметно улыбаясь, и робко спросил:

– Правда, красивая песня?

И посмотрев на его руку, его сильную ладонь, я, кажется, понял величие его песни и его души.

– Может, там были незнакомые тебе слова? Я в песне перечислял названия европейских городов, где у нас были акции, я рассказывал про них. Ты ведь слышал, как я в разных тональностях пел про Мюнхен?

– Ты описывал город?

– Да, каждую улицу.

– Ты был в Мюнхене?

– Я так много про него пел, так что... в общем, да.

Еще он сказал мне, по-прежнему улыбаясь, как себе представляет искусство пения, и уже серьезно добавил:

– Нам очень мешал ручей.

– Почему?

– Как только он заговорил, то уже не давал сказать никому другому.

Значит, и он услышал этот голос, а мне-то казалось, он такой тихий, потаенный, и никакое ухо, кроме моего, распо-

знать его не может.

Но если и чужие органы восприятия способны улавливать то, что, как я думал, доступно мне одному, значит, нет у меня никакой тайной жизни?

Однажды вечером – это был тот вечер, когда фидайны отдыхают после целого дня трудов: снабжение, охрана базы, штаба, платформ для тяжелой артиллерии, контроль телефонной и радиосвязи, все то, что имеет отношение к безопасности палестинцев, я уже не говорю о постоянной боевой готовности, ведь от иорданских деревень исходит опасность – однажды вечером Халеб Абу Халеб спросил меня, как сражаются Черные Пантеры.

Мой рассказ был неторопливым из-за скудости словарного запаса арабского языка. Партизанская война в городах его удивила.

– Зачем они это делают, разве у них в Америке нет гор?

Возможно, потому что движению Черных Пантер не хватало глубины и основательности, оно распространилось среди черных и молодых белых, воодушевленных мужеством рядовых членов и командиров и новой протестной символикой. Символика: «афрошевелюра», железный гребень, все это имелось и у других представителей «черных» движений, обращенных к Африке – Африке воображаемой, где ислам уживался с анимизмом – Пантеры тоже не отказывались от подобной символики, но добавляли к ней свою: «All Power

to the People”: черная Пантера на синем фоне, кожаный пиджак, берет, но главное – оружие, которое носят на виду, демонстративно. Вообще-то у Партии не имелось никакой идеологии: «Десять пунктов» ее программы были довольно расплывчаты или противоречивы, их марксизм-ленинизм казался надуманным, в самом деле, когда заявляют, что главная цель революции – освобождение человека (в данном случае, черных американцев), это вообще ни о чем. Если марксизм-ленинизм по определению атеистичен, то революционные движения Пантер или палестинцев вроде нет: но их тайная (или не слишком тайная) цель – это медленное и постепенное истощение Бога, когда он делается пресным, бескровным, забытым, истончается и тускнеет до полного исчезновения. Это может быть такой особой тактикой, пусть долгой, но эффективной. Все, что делали Черные пантеры, они делали – так они считали – ради освобождения черных. Они заставляли принять «Black is Beautiful», и это внушает уважение даже черным копам, даже тем неграм, кто раболепствовал перед белыми. Поощряемое властью движение выходило за пределы, предусмотренные властью.

Оно стало хрупким и недолговечным, как мода, но в то же время жестким и суровым, ведь приходилось охотиться на копов, а копы охотились на них.

Хрупким из-за своих отливающих всеми цветами радуги нечетких границ, о чем я уже говорил, из-за способа финансирования движения, из-за большого количества телевизи-

онных картинок, тоже нестойких и мимолетных, из-за своей риторики, жесткой и мягкой одновременно, за которой не виделось серьезных размышлений, из-за своей легкомысленной театральности – ну да, театральности – из-за быстро появляющихся и стремительно исчезающих символов.

Итак: переливающие всеми цветами радуги границы. Наверное, они представляли собой нечто вроде заграждения между белыми и Пантерами, но мало того что заграждение это было непрочным, оно еще было взаимопроницаемым.

Теперь о способе финансирования: золотая богема, и белая и черная, быстро увлеклась ими. Чеки лились потоком: джазбанды, театральные труппы перечисляли выручку от спектаклей и концертов. Пантеры поддались соблазну трагиться на адвокатов, на судебные процессы, на прочие издержки. Кроме того, у них появилось сильнейшее искушение просто проматывать эти деньги, и они поддались этому искушению.

Телевизионные картинки: картинки движущиеся, но двухмерные, как будто они опирались на нечто воображаемое, то есть, на мечту, а не на факты.

Риторика Пантер: она радовала молодых, белых и черных, которые подражали ей. Но слова “Folken”, “A man”, “All Power to the People” быстро сделались привычкой, заглушающей всякие размышления.

Театральность, как и телевидение, тоже переносит в воображаемое, только ритуальными способами.

Символику удалось расшифровать слишком быстро, поэтому она потеряла смысл. Ее стремительно приняли, но тут же и отвергли, слишком прозрачной и понятной она оказалась. Несмотря на это, и еще потому что влияние ее было слабым, ее восприняли сначала молодые чернокожие, заменившие марихуану провокациями с прическами, затем молодые белые, получившие возможность избавиться от викторианского языка, которые хохотали, услышав, как сначала Джонсона, потом Никсона публично называют ублюдками, которые поддерживали – пытаюсь им подражать – Пантер, потому что это было «модным» движением. На этот раз черные оказались на виду не как покорное меньшинство, не как люди, чьи права надо защищать, а как яростные, стремительные, непредсказуемые нападающие, до самой смерти преданные своему долгу – защите черных.

Эта вспышка, вероятно, стала возможной благодаря войне во Вьетнаме и борьбе вьетнамцев с америкасами. И предоставляя слово – вернее, не отказывая предоставить слово – лидерам Пантер на антивоенных митингах, в каком-то смысле им предоставляли *право* вмешиваться в государственные дела. Наконец, и это нельзя недооценивать, к движению прикнули чернокожие ветераны войны в Индокитае, с их гневом, их агрессией, их знанием огнестрельного оружия.

Наверное, самый важный итог движения Пантер это то, что черных стали замечать. Я сам могу это подтвердить: в 1968 году на Демократическом конгрессе в Чикаго черные



были если не робкими, то, по крайней мере, осторожными. Они старались не попадаться на глаза и особо не высказывались. А в 1970 году они уже жили с высоко поднятой головой, как будто наэлектризованные. Реальная деятельность Пантер была практически завершена. Если белая администрация хотела их уничтожить, позволив разрастаться без ограничений и тем самым сглаживая влияние, она быстро поняла, что ошиблась: период разрастания Пантеры использовали, чтобы увеличить число своих выступлений или деяний, которые становились символами, и сила этих символов оказывалась их же слабостью, их тут же перенимали все чернокожие и белая молодежь: над гетто пронесся яростный ветер, сметая стыд, незаметность, четырехвековую униженность, а когда ветер стих, оказалось, это было всего лишь легкое дуновение, почти нежное, дружеское.

Любое слово может возвестить о создании, затем о проявлении любого образа, но тот образ, что отпечатается здесь, предстал среди огромного множества других, уступающих ему в яркости, силе, убедительности, по мере того, как моя решимость писать становилась все четче и в конечном итоге сосредоточилась лишь на одном образе: полярная ночь. Взлетев из аэропорта Гамбурга вечером 21 декабря 1967, самолет Люфтганзы сначала доставил нас в Копенгаген. Из-за поломки навигационных приборов нам пришлось вернуться во Франкфурт. Вновь мы вылетели утром 22. Пассажи-

рами, за исключением трех американцев, пятерых немцев и меня, были молчаливые японцами. До самого Анкориджа не произошло ничего особенного, но незадолго до приземления стюардесса сказала несколько приветственных слов по-английски и по-немецки, затем произнесла «Сайонара»<sup>19</sup>. Вероятно, чистый тембр ее голоса, необычность этого звучания, к которому я был готов, прозрачность гласных, едва подхваченных согласными, в общем, это произнесенное в ночи слово, а еще самолет на западной долготе, которую вскоре предстояло покинуть, это слово вызвало во мне новое яркое ощущение, которое называют предчувствием.

Самолет вновь взлетел. Или нет? Моторы вращались, а я ведь не почувствовал никакого, ни слабого, ни резкого толчка, когда мы отрывались от земли, а ночь была такой плотной, что я не понимал, неподвижны мы или уже нет. Все молчали, может, спали, может, щупали себе пульс. В иллюминатор я видел лишь красные бортовые огни на конце крыла. Стюардесса сказала, что мы обогнули полюс и «перемещаемся» на восточную часть глобуса. Усталость от путешествия, изменение маршрута, блуждание самолета, ночь, которая если и кончится, то только где-нибудь над Японией, сама мысль о том, что мы уже на востоке земного шара, и что каждую секунду возможна авария, а с каждой новой секундой становилось понятно, что авария не произошла, слово «Сайонара», до сих пор звучавшее во мне – всё это вместе

---

<sup>19</sup> Сайонара – японская формула прощания. (*Прим. перев.*)

не давало спать. После этого слова мне стало казаться, что от моего тела, рискуя оставить меня голым и белым, лоскутами стала отпадать черная и плотная иудео-христианская мораль. Меня удивляла собственная безучастность. Ведь это я сам подвергался этой процедуре, я же был ее свидетелем, мне она даже была приятна, но я в ней как будто не участвовал. Следовало быть осторожным: всё пройдет успешно, если бы я не стану вмешиваться. Чувство облегчения было обманчивым. Как будто кто-то прощупывал и исследовал меня. Так долго я боролся против этой морали, что борьба моя стала комичной. И совершенно напрасной. Одно японское слово, японское слово, произнесенное гибким эластичным голосом молодой женщины, уже начало действовать. А еще мне казалось удивительным, что в своих прежних сражениях я так и не сподобился отыскать, может, придумав его сам или выучив японский, это простое, немного забавное слово, чей банальный смысл еще не совсем был мне понятен. Застигнутый врасплох очистительной властью, целебной властью простого слова, спроецированного на прозрачный матовый экран, я был заинтригован. Немного позднее мне показалось, что «Сайонара» – в японском звука «р» не существует, и слово прозвучало как «Сайонала» – стало для моего измученного тела – измученного, потому что держало унижительную осаду против этой иудео-христианской морали – первым прикосновением кусочка ваты, снимающей грим, чтобы оставить меня, как я уже сказал, голым и белым. Освобожде-

ние, которое представлялось мне долгим, медленным, изнуряющим, глубинным, требующим работы скальпелем, начиналось как игра — незнакомое слово, поставленное в насмешку после двух англо-немецких, приветствие, адресованное всем пассажирам, оно стало началом очищения, пусть пока поверхностного, но оно освобождало меня от этой морали, не разъедающей, а скорее липкой и вязкой. Мне не понадобится церемонная и торжественная хирургическая операция, она просто растворится при помощи мыла. Внутри ничего не было. И все же я встал и пошел срать в конец самолета, надеясь освободиться от солитера длиной в три тысячи лет. Облегчение было почти мгновенным: все будет хорошо, ведь освобождение начиналось насмешкой, весьма подходящей для такого случая. При помощи тонкой эстетики разрушалась тяжеловесная мораль. Я не знал учения дзен и не знаю, почему пишу эту фразу. Самолет по-прежнему летел в ночи, но я уже не сомневался, что по прибытии в Токио буду голым, улыбающимся, проворным, способным разом обезглавить первого, второго таможенника, и плевать мне на это. На девочку-японку, чьей смерти я боялся и желал, таможенники даже не взглянули. Мне показалось, хрупкость ее костей и то, что черты лица были и так сплюснуты, уже являлось вызовом: расплющивание, деформация. Впрочем, тяжелые сапоги немецкого экипажа так подходили мускулатуре бедер и ягодиц, широкому торсу, шейным сухожилиям, твердому взгляду.

«Такая хрупкость есть агрессия, требующая репрессий».

Вероятно, эти слова я произнес про себя как-то по-другому, можно предположить, передо мною пронесли образы обнаженных изможденных евреев, в лагерях, где их слабость казалась провокацией.

«Казаться таким хрупким и таким расплющенным, они так молились, что их расплющило? Если их совсем расплющит, как об этом узнают? Нас, живых японцев, уже более сотни миллионов».

Она была живой и говорила по-японски.

Всякое решение принимается вслепую. Если какое-нибудь постановление, вынесенное судебное решение оставляло судей обескровленными и обессиленными, присяжных заседателей дезориентированными, публику озадаченной, а преступника свободным, в основе этого постановления и этой свободы – безумие. Сочинять приговор с таким же усердием, с каким идиот сочиняет стихотворение, ну и дела! Где найти человека, принявшего решение не судить, чтобы заработать себе на хлеб? Кто готов покинуть ровные и прямые коридоры суда, чтобы заблудиться и зачехнуть, сочиняя очередной приговор, рискуя осознать, что слишком тщательная подготовка подлости может помешать ее осуществлению? У судьи нет имени, есть лишь функция. Но преступника он называет по имени, и тот встает. Преступник не может без судьи, они связаны один с другим некой биологической несуразностью, которая не противопоставляет их, но дополняет.

Кто из них тень, кто солнце? Всем известно, что бывают великие преступники.

Все произойдет на фоне ночи: готовясь вот-вот умереть, хотя эти слова обладают столь малым смыслом, столь мало передают значимость события, преступник хотел бы еще сам решать, чем являлась его жизнь – истекающая на ночную тьму, которую он желал не осветить, но сгустить еще сильнее.

Стоуни Брук – университет километрах в шестидесяти от Нью-Йорка. Университетские постройки, дома преподавателей и студентов находятся прямо в лесу. Мы с Черными Пантерами должны были читать там лекции, одну для студентов, другую для профессоров. Цель – рассказать о Бобби Силе, его тюремном заключении, о реальной опасности смертного приговора, а еще рассказать о решимости Никсона уничтожить партию Черных Пантер, рассказать о проблеме чернокожих в целом, продать выпускаемый партией еженедельник, получить два чека за лекции, один – 500 долларов – от профессоров, другой – 1000 – от студентов, провести сбор пожертвований, попытаться завербовать сочувствующих среди чернокожих студентов. Садясь в машину – мы были на съезде партии в Бронксе – я сказал Дэвиду Хиллиарду:

– Ты едешь с нами?

Он слегка улыбнулся, отказался и произнес показавшуюся мне загадочной фразу:

– Еще слишком много деревьев.

Я уехал с Заидом и Наппье. В течение всей поездки эта фраза «Еще слишком много деревьев», постоянно вертелась у меня в голове. До сих пор для чернокожего, едва достигшего тридцатилетия, дерево – совсем не то же самое, что для белого: не праздник листвы, не птичьи гнезда, не процарапанные на коре сердечки с именами, а виселица. При виде дерева, воскрешающего в памяти не такой уж и древний страх, у чернокожего пересыхало во рту, отказывали голосовые связки: оседлав ветку покрепче, белый держал веревку с уже готовым узлом, это было первое, что видел негр, которого собирались линчевать; сегодня от чернокожего нас отличает не столько цвет кожи или форма прически, сколько его терзаемая навязчивыми идеями психика, которую нам не суждено понять, разве что сам черный, следуя какой-то шуточной и тайной моде, вдруг произнесет некую фразу, и она покажется нам загадочной. Она и вправду загадочная, впрочем, это переплетение навязчивых мыслей черные держат при себе. Из своих несчастий они сделали богатство.

Профессора Стоун Брук вели себя непринужденно. Они принимали нас с большой теплотой. Вряд ли они поняли, что я, используя менее агрессивную риторику, вовсе не пытаюсь отмежеваться от Пантер. Мне следовало бы как-то смягчить, объяснить им... на мое имя выписали два чека и отдали их

Пантерам. Такая деликатность тронула меня. Одна светло-волосая дама, преподавательница, сказала мне:

– Нам нужно протестовать против расстрелов Пантер, ведь учитывая, как развиваются события, потом нам придется опасаться за своих сыновей.

После некоторых размышлений я должен написать: со времени своего создания в октябре 66 года Партия Черных Пантер все время будто пыталась превзойти самое себя, беспрестанно вбрасывая новые картинки, и так вплоть до конца 1970. В апреле 70 Пантеры были по-прежнему сильны, у университетских профессоров не хватало доводов вести дискуссии, бунт чернокожих базировался на таких очевидных вещах, что возражать было бессмысленно, а всё, на что были способны белые – профессура или кто еще – заклинали злых духов. Кто-то вызывал полицию. Но радостное, преисполненное пафоса движение Пантер так и не стало популярным. Они призывали к самопожертвованию, вооруженным столкновениям, словесным баталиям, оскорблениям, которыми хлестали белых по роже. Насилие могло подпитываться только нищетой гетто. Великая внутренняя свобода находила свое выражение через войну, которую они объявили полиции, администрации, всему белому населению и части черной буржуазии. Это движение было таким пронзительным, что исчерпалось довольно быстро. Оно сгорело, потрескивая, искрясь и сделав проблему чернокожих не просто ви-



димой, но сияющей.

Нашлось не так много американских интеллектуалов, понявших, что аргументы Пантер – поскольку не основывались на сущности американской демократии – представлялись слишком поверхностными, а сами Пантеры необразованными и ограниченными. Резкость пантеровской риторики (некоторые ее называли пустословием) проявлялась не в самой сути дискуссий, а в напоре утверждения – или отрицания, в гневном тоне и тембре голоса. Этот побуждающий к действиям гнев не допускал напыщенности и высокопарности. Пусть сравнит тот, кому довелось присутствовать на политических потасовках белых, скажем, на конгрессе Демократической партии в Чикаго в августе 1968: поэтические измышления не принесли им удачи.

Теперь хорошо видно, что партия Пантер не только провоцировала и поощряла молодых черных, за дерзкими провокациями в адрес белых угадывалась такая воля жить, что было понятно: они готовы пожертвовать самой жизнью. Молодые экстравагантные черные из Сан-Франциско, Гарлема или Беркли и скрывали, и прямо указывали, что оружие направлено на белых. Благодаря Пантерам черные, которых называли еще «Томами», занимающие высокие посты в администрации, должностные лица, мэры крупных городов с преобладающим черным населением, те, кого избрали или назначили для вида, напоказ, теперь эти черные были «на ви-

ду», отныне белые их «слышали». Не потому что они повиновались Пантерам или Пантеры были их инструментом, а потому что Пантер опасались. Порой это станет несчастьем для самого гетто: высокопоставленные черные, которых белые теперь выслушивали, испытали искушение распространить свою власть и нанести удар по черным, не заботясь о справедливости, а из стремления к еще большей власти. Они смогли служить американскому закону и порядку. Но с 1966 по 1971 Пантеры проявили себя как юные варвары, угрожающие законам и искусствам, ссылаясь на марксистско-ленинскую религию, столь же близкую к Марксу и Ленину, как Дюбюффе к Кранаху. Надо было спать, не так ли? Ближе к концу ночи, после всех дискуссий, ссор, виски и марихуаны, нужно спать. Многие Пантеры страдали язвой желудка.

Вы полагаете, этот молодой черный, оказавшийся в тюрьме, потому что курил, украл, изнасиловал, избил белого – сын учтивого чернокожего, уважающего религиозные и государственные законы? На самом же деле, этот молодой черный, и он сам прекрасно это знает, три сотни лет назад убил белого, совершил множество побегов с кражами, грабежами, собаками по следу, соблазнил и изнасиловал белую женщину и был повешен без суда и следствия; он один из главарей восстания 1804 года, у него кандалы на ногах, он прикован к тюремной стене, он тот, кто повинуется и кто отказывается повиноваться. Белая администрация предоставила

ему отца, которого он знать не знает, черного, как и он, но ему, возможно, было предназначено сделать еще отчетливей отличие между первоначальным негром, который никуда не делся, и им теперешним. Такой метод устраивает белого и обслуживает его интересы: устраивает, потому что администрация может избивать или убивать людей и не чувствует свою вину; обслуживает интересы белого, потому что ответственность за «преступления» черного будет нести один человек, а не черное сообщество, а приговор, вынесенный ему лично, станет элементом системы американской демократии. Итак, белые очень несчастны: надо осудить негра? или черного? Благодаря Черным Пантерам появились очень хорошие, правильные чернокожие, но своими действиями эти Пантеры доказывали, что негр остается негром.

Но немного чеснока, к счастью...

В палестинских лагерях левятами называли мальчиков от семи до пятнадцати лет, которые учились быть солдатами. Критиковать подобную практику очень просто. С точки зрения психологии польза от этого была, хотя и не слишком большая. Закалывать тело и дух можно было бы с помощью спортивных упражнений, ежедневно увеличивая их интенсивность, чтобы научиться справляться с холодом, жарой, голодом, страхом, ужасом, внезапным нападением. Условия тяжелых тренировок все равно не будут соответствовать ре-

альной ситуации, когда придется встретиться лицом к лицу с коварными солдатами противника, готовыми убивать даже детей. Когда командиры этих львят отдавали приказы мальчишкам, пусть даже самые суровые, в их голосе слышалась почти материнская нежность.

«Каждый десятилетний палестинец умеет стрелять», – торжественно объявила мне Лейла. Еще она полагает, что стрелять – значит приложить винтовку к плечу и нажать на спуск. Но хорошо стрелять – это прицелиться в противника и убить его, а эти мальчишки пользуются оружием устаревшего образца, и фидайны тоже. Стрелять куда? В кого? А главное, в каких условиях? На этом микроскопическом клочке земли, отданном льятам – скорее игровая площадка, чем полигон, царила умиротворяющая атмосфера детства, и не было в помине этой невыносимой жестокости, ужаса не было, потому что о враге *никогда не узнаешь*. Уроки партизанской войны были простейшими. Я так часто видел, как льята преодолевают заграждения колючей проволоки, всегда одни и те же, и перед ними не ставят никакой новой задачи, не требуют искать выход из ситуации неожиданной и опасной, зародившейся в извилинах израильских умов, так что в какой-то момент мне стало казаться, что эти дети тренируются на каких-то «Потемкинских» военных базах. Журналистам со всего мира, которые посещали палестинские лагеря, льята словно хотели доказать, что они представители нового поколения, родившиеся с винтовкой в руках, прицельной ли-

нией в глазах и отвоеванными территориями в сердце. Кроме журналистов из коммунистических стран никого одурачить было нельзя.

При этих заявлениях Израиль (на географических картах пробел, окаймленный на севере синевой Средиземного моря, на востоке Ливаном, а на юге королевством Иордания, изображает то, что еще до 1948 года называлось Палестиной. Предполагается, что на карте стерто то, что некоторые страны называют сегодня Израилем) взрывался ненавистью, которая никогда не затухала. Одних только фотографий львят в лагерях было достаточно, чтобы продемонстрировать пусть не слабость Государства, но, по крайней мере, непрерывную угрозу, а приготовления и акции израильтян и сравнить было нельзя с этими лагерями сыновей полка, над которыми каждое утро торжественно поднималось треугольное знамя. Я неоднократно присутствовал при этом ритуале поднятия флага: он был соразмерен этим детям, то есть, небольшой; никого не удивляет, когда школьники размахивают маленькими бумажными флажками, приветствуя королеву, судя по улыбке высочайшей особы, их маленький размер вполне соответствует маленьким детям: в лагерях львят символ Родины был обескровлен, и я бы сказал, что с возрастом символы увеличивались в размере. Когда внезапно тренировочный лагерь заволакивало дымом, дети не испытывали ни страха, ни удивления, это была запланированная операция, но какой эффект, когда среди бела дня наступила тьма, потому что

Израиль уничтожил солнце! Что означает это «но немного чеснока, к счастью...»? Пресный вкус можно улучшить с помощью небольшого количества чеснока, и зачастую старшие львята, более испорченные и порочные, чем их командиры, отдавая приказы своим товарищам, словно пряность в блюдо, добавляли немного садистского удовольствия, возможно, приправа и была слишком острой, но такой тонизирующей.

Палестинцам пристало быть чистоплотными, к мертвым следовало отправляться только после тщательного мытья и чистки. Я узнал об этом все от того же Халеба; двое двадцатилетних солдат, из тех, что пели с ним среди холмов, тщательно мылись неподалеку от нас. Казалось, другие фидайны их не замечают – только не смотреть на них. Под мытьем-чисткой я подразумеваю почти маниакальную заботу о своей гигиене, для них это работа, священный ритуал. Сначала салфеткой, затем руками они полировали свою кожу, несколько раз протерли между пальцами ног, чтобы там не осталось никакой грязи. Затем тщательно вымыли половые органы, торс, подмышки. Солдаты помогали друг другу, один намыливался, затем второй лил чистую воду. Стоя чуть поодаль – всего в нескольких метрах – от других солдат, они казались одинокими, и причиной одиночества как раз и было это занятие, отдалившее и отстранившее их от прочих. Одновременно возвышающее их до размеров горы и отодвинувшее от всех так далеко, будто они были муравьями. Слово

«чистка» мне представляется точным: каждый мыл свое тело, как хозяйка чистит кастрюли, которые нужно отполировать порошком, а после ополоснуть, чтобы они засияли, это было больше, чем просто мусульманское омовение. Я пытался смотреть на происходящее глазами тех фидаинов: представил двух молодых людей их одиночеству и их работе, и то, и другое нельзя было ни с кем разделить. Один из них принялся что-то напевать, другой подхватил. Первый взял лежащий рядом небольшой саквояж, открыл застёжку-молнию, достал остроконечные портновские ножницы и, продолжая напевать, по обыкновению импровизируя, аккуратно обреза ногти на ногах, особенно уголки, которые могли порвать носок, затем наступила очередь ногтей на руках, потом он вымыл руки, лицо, половые органы со сбритыми волосками, при этом продолжал петь, подыскивая и быстро находя слова, обращенные к Палестине. Не знаю почему, но той ночью они не стали спускаться в Израиль. Предпогребальное омовение не стало посвящением. Они вновь сделались фидаинами, неотличимыми от других. Когда их назначат вновь, все начнется сначала.

Хохоча во все горло и запрокидывая голову, так что нашее выступило «ожерелье Венеры», такое же, как у Ланнии Сольх<sup>20</sup>, Набила поведала мне о кончине одной восьмидеся-

---

<sup>20</sup> Скорее всего, речь идет о Ламии Сольх – дочери первого премьер-министра Ливана, невесте, а впоследствии – жене марокканского принца Абдаллы. (Прим. ред.)

тилетней палестинки. Она обмотала вокруг плоского живота пояс с четырьмя рядами осколочных гранат. Ей, вероятно, помогли женщины – ее ровесницы или моложе, затем, плача настоящими слезами, она приблизилась к группе из движения Амаль<sup>21</sup>, который отдыхал, радуясь, что хорошо пострелял в палестинцев. Старуха плакала долго, на что-то жалуясь сквозь слезы. Люди Аманль вежливо подошли к ней, чтобы утешить. Она все плакала и бормотала по-арабски какие-то жалобы, так тихо, что шииты ее не слышали: им пришлось встать совсем рядом. Когда я узнал из газет, что какая-то шестнадцатилетняя девственница взорвала себя посреди группы израильских солдат, я не удивился. Меня интересовали скорее предсмертные радостные приготовления. За какую веревку должна была дернуть старуха или девушка, чтобы сработали гранаты? Как нужно было приладить пояс, чтобы придать телу девственницы женскую гибкость и привлекательность и не вызвать недоверия у солдат, известных своей сообразительностью?

Я слушал «Реквием» в плеере, сидя в гостиничном номере, но представьте себе настоящие похороны в церкви, с цветами, венками и восьмью свечами, настоящим покойником в гробу, пусть даже закрытом, и как обрушивался на меня оркестр и хор. Ведь через музыку является жизнь, а

---

<sup>21</sup> Амаль – ливанское политическое движение, известное своей кампанией против палестинских беженцев в 80-гг. (Прим. ред.)



не смерть, жизнь этого покойника, для которого звучит месса, и неважно – лежит он в гробу или нет. У меня имелись наушники. Сообразно римской литургии и латинским фразам, которые я рассеянно слушал, Моцарт просил вечного покоя или, вернее, иной жизни и, поскольку церемония происходила лишь в моем воображении, а передо мной не было ни церковных ворот, ни кладбища, ни священника, ни коленопреклонения, ни кадила, после *Литании* мне послышалось языческое безумие. Танцуя, из пещер вылезали троглодиты, чтобы поприветствовать умершую, они танцевали не под солнцем, не под луной, а в молочном тумане, светящемся собственным светом. Пещеры походили на дыры в огромном куске швейцарского сыра, а эти троглодиты, не человекообразные существа, а смеющиеся, злые духи мелькали, танцевали, встречая новую умершую, значит – каков бы ни был ее возраст – *юную умершую*, чтобы она постепенно привлекала к загробной жизни, чтобы как радостный дар, приняла смерть или новую вечную жизнь, счастливая и гордая оттого, что удалось вырваться из этого, земного мира; день гнева, туба мира, «царь приводящего в трепет величия»<sup>22</sup>, это была не месса, а главная партия в опере, которая звучала не меньше часа, *пока длилась агония*, пережитая и сыгранная в ужасе от того, что теряешь этот мир, чтобы ока-

---

<sup>22</sup> Dies irae, Tuba mirum, Rex tremendae majestatis (День гнева, туба мира, «царь приводящего в трепет величия») – части моцартовского «Реквиема». (Прим. перев.)

заться — в каком? Под каким обличьем? Переход по подземному туннелю, ужас могилы, надгробной плиты, но главное — веселье, радость, что летят быстрее смерти, стремительность, с какой агонизирующий покидает этот мир, торопясь оставить нас неблагодарной благопристойности повседневной жизни, чтобы вознестись, не опуститься, а вознестись, смеясь, а может, и чихая, к свету, вот на чем мне довелось присутствовать от *Диес ире* до знаменитейшего восьмого такта *Лакримозы*, которого я никогда не отличал от последующих тактов, допуская веселость, я, осмелившись сказать *свобода*, осмеливаюсь на все. Когда юноша после долгих дней беспокойства и растерянности решается поменять пол, стать тем, кого обозначает это ужасное слово транссексуал, и когда уже решение принято окончательно, его наполняет радость при мысли о новых половых органах, о двух грудях, которые он станет ласкать своими слишком маленькими и слишком влажными ладонями, но главное — по мере того, как станет увядать прежний половой орган и вот-вот отпадет, сделавшись окончательно непригодным, придет радость сродни, наверное, безумию, когда о себе он будет говорить не «он», а «она», осознав, что грамматика тоже делится на две части и, поворачиваясь вокруг своей оси, одна ее половина обозначает его, то есть, женскую сущность, а другая пусть останется языку. Переход от одной половины, в щетине и волосатой, к другой, с эпиляцией, должен быть сладостным и страшным. «Твоя радость переполняет меня...»

«Прощай, дорогая половина, я умираю в себе...». Покинуть мужскую сущность, ненавистную, но привычную, это значит покинуть мирскую жизнь ради монастыря или лепрозория, оставить мир брюк ради мира бюстгальтеров – сродни смерти, которую ожидаешь, но страшишься и, не правда ли, когда хор поет *Tuba mirum*, это можно сравнить с самоубийством? Транссексуал станет чудовищем или героем, а еще ангелом, потому что я не знаю, воспользуется ли кто-то этим искусственным половым органом хотя бы один-единственный раз, если только всё тело и его новое предназначение не сделаются одной огромной вагиной, когда упадёт отцветший член; нет, хуже, он не упадёт, а падёт, поверженный. Страшное начнется, когда ступня откажется уменьшаться: трудно найти женскую обувь 43–44 размера на шпильках, но радость перекроет всё, радость и веселье. Об этом и говорит «Реквием», о радости и страхе. Так палестинцы, шииты, юродивые, которые, смеясь, устремились к старейшинам в пещеры, позолоченные лодочки 43–44 размеров взорвались тысячами осколков смеха, вперемежку с пугливым отступом тромбонистов. Благодаря этой радости в смерти или, вернее сказать, в новой, несходной с этой, жизни, несмотря на скорби, нравственность стала не нужна. Радость транссексуала, радость «Реквиема», радость камикадзе... радость героя.

Как неудобно и неприятно было сушить свои «западные» ладони, держа их под горячим воздухом сушилки, уж лучше намочить чистое полотенце, зато вам – особенно в детстве

— довелось познать счастье стоять под дождем, под ливнем, лучше всего летом, когда падающая на вас вода теплая. Я никогда не мог, подняв намоченный слюной палец, определить направление ветра, то же самое и с направлением дождевых струй, если только они не падали косо, как последние лучи заходящего солнца, а когда я понял, что при первом порыве ветра иду навстречу пулям, то удивился и засмеялся, как ребенок. Под защитой стены я испытал идиотское счастье, нахлынувшее на меня вместе с уверенностью в собственной безопасности, хотя в двух метрах за стеной подстерегала смерть: настроение было прекрасным. Страх не существовало. Смерть, как и дождь из железа и свинца, была частью нашей жизни. На лицах фидайнов я видел лишь счастливые и спокойные улыбки, ну, может, чуть скептические. Абу Гассам фидайн, который резко потянул меня за рукав в укрытие мертвой зоны, казался раздраженным.

«Стреляют без предупреждения, так еще этого европейца защищай», — вероятно, подумал он, потому что из-за знания французского оказался ответственным за меня. Я обратил внимание, что никто из солдат, вооруженных и увешанных боеприпасами — скрещенные на теле патронные ленты — не попытался проникнуть в здание, найти там убежище, откуда мог бы вести ответный огонь и в случае необходимости защищать обитателей дома. Все — кроме меня — были молоды и еще не обстреляны, как это слово сюда подходит. Я находился в угнетенном состоянии, в другом месте дру-

гие люди назвали бы это пораженчеством. Знаменитое евангельское «Совершилось!», вероятно, лучше всего выразило бы мои ощущения. Возле Джераша уже не сражались. Только колонны римских храмов, оставшиеся со времен римлян. Пули решетили фасад дома, но поскольку мы стояли за углом, то ничем не рисковали. Смерть держали на почтительном расстоянии. Два шага вперед, и я был убит, и там отчетливее, чем где бы то ни было, я услышал властный и повелительный призыв на краю бездны, готовый принять меня на веки охотнее, чем любая пучина, выкрикивающая мое имя. Стреляли долго, как и в другие дни. Молодые фидайны смеялись. Кроме Абу Гассама никто из них французского не знал, но их глаза говорили мне всё. Если бы у Гамлета не было ни публики, ни партнеров, испытал бы он это счастье самоубийственного головокружения?

Но почему голос ручья ночью стал вдруг таким громким, даже раздражающим? Может, холмы и хоры приблизились к воде, а никто этого и не заметил? Я, скорее, предполагаю, что у певцов устали голоса или они сами слушали голос водного потока, потому что он завораживал их, а может, наоборот, воспринимался, как неприятный шум.

Когда я пытаюсь донести до вас свои воспоминания, мне нужно призвать на помощь два образа. Первый – это белые облака. Все, чему я был свидетелем в Иордании и Ливане, окутано плотными-плотными облаками, которые до сих пор

нависают надо мной. Мне кажется, я их прорываю, когда иду вслепую, стараясь отыскать что-то зримое, но не знаю, что именно. Оно должно явиться мне во всей своей свежести, каким предстало передо мной впервые, был ли я действующим лицом или только свидетелем; например, четыре ладони, постукивающие по дереву, выбивающие все более веселый ритм на досках гроба, и вот туман отступает. Стремительно или медленно, как поднимается театральный занавес, всё, что было связано с этими ладонями, проступает со всей четкостью того первого раза, когда я это увидел. Я различаю каждый волосок черных усов, белые зубы, улыбку, которая сначала тает, а потом становится еще шире.

Второй образ – это огромный упаковочный ящик. В нем только стружки и опилки, мои руки роются в этих опилках, я почти отчаялся при мысли, что там ничего больше и нет, хотя знаю, что эти опилки нужны, чтобы защищать от повреждения ценные вещи. Наконец, рука нащупывает какой-то твердый предмет, пальцы узнают голову фавна, значит, это ручка серебряной чаши, которую стружки и опилки одновременно и защищают, и скрывают, оберегают: мне пришлось долго рыться в этом бездонном ящике, чтобы эта чаша явилась мне. Чаша – одно из палестинских впечатлений, потерянных, как мне казалось, в опилках или облаках, но оно сохранилось в своей утренней свежести, словно кто-то – может, мой издатель? – тщательно упаковал его, сберег, чтобы я мог описать вам его таким, каким оно было.

Поэтому я и хочу написать: грозовые тучи весьма питательны.

Как бы то ни было, мое удивление означает вот что: «Если они обладают способностью различать то, что, как мне казалось, различить могу я один, я должен скрывать свои чувства, ведь порой они меня шокируют. Скрывать не из вежливости, а из осторожности». Несмотря на искренние лица, жесты, поступки, несмотря на их открытость, я довольно быстро понял, что сам удивляю не меньше, чем удивляют меня, а может, и еще больше. Если столько вещей существуют лишь для того, чтобы их увидеть, только увидеть – и всё, ни одно слово не сможет их описать. Фрагмент руки на фрагменте ветки, глаз, которых не видел их, но видел меня. Каждый знал, что я знаю: за мной наблюдают.

«Они притворялись друзьями, товарищами? Меня можно увидеть или я прозрачен? А может, меня видят именно потому, что я прозрачен?

Конечно, прозрачен, потому что меня можно увидеть как видят камень или мох, но не как одного из них. Мне казалось, мне есть, что скрывать, у них был взгляд охотника: недоверчивый и понимающий.

Если мужчина не палестинец, он не слишком много делает для Палестины: он может отказаться от нее, уехать в какое-нибудь спокойное место, например, в Бургундию, в Дижон. Фидаин должен победить, умереть или предать». Это

первая истина, которую он должен осознать. Единственный еврей, бывший израильтянин является одним из руководителей Организации Освобождения Палестины, Илан Галеви. ООП и палестинцы его не опасаются, потому что он окончательно порвал с сионизмом.

Или же палестинец падает и умирает; если он выживает, его отправляют в тюрьму на пытки. Затем его забирает пустыня и держит в своих лагерях неподалеку от города Зарка. Потом мы узнаём, что обеспечивало «щадящий режим» фидаину. Это группа немецких врачей – они ездят повсюду, где практикуют пытки, возможно, руководствуясь коммерческой надобностью: обеспечивать лагеря инструментами для пыток, продавать врачам лекарства и продвигать последние чудеса науки в области медицинской реабилитации, наконец, особо строптивых, не поддающихся пыткам переправлять через границу и спасать. Потом их отправляют в больницу в Дюссельдорфе, Кельне, Гамбурге и там лечат. Когда они выходят оттуда, то говорят по-немецки, знают, что такое снег, зимний ветер, ищут работу, а иногда женятся, причем берут всего лишь одну жену.

По слухам, именно такой была судьба Хамзы. Так уверяли многие палестинцы. С декабря 1971 года я не встречал никого, кто мог бы мне подтвердить, что Хамза еще жив.

Но что это за «щадящий режим»? Возможно, в этом выражении кроется самый постыдный секрет палестинского солдата. Из чего сотканы сны революционера, восставшего в пу-



стыне, ничего не знающего про Запад и почти ничего про отбрасываемую им тень, то есть, Восток? Где находят они свои вымышленные имена? Как влияет на них новое имя? Вот так, например.

Герб, который так нетрудно расшифровать: всё венчает золотая иорданская королевская корона. Где король? На троне, а самым популярным человеком был Глабб-паша. В 1974 его называли так:

- Как «Повелитель»?
- Что делает «Повелитель»?
- Что об этом думает «Повелитель»?
- Куда пошел «Повелитель»?
- «Повелитель» был в хорошем настроении.
- «Повелитель» пишет стоя. Он что, принимает себя за Бисмарка?

Палестинцам в лагерях, даже в частных беседах, когда Мухабарат<sup>23</sup> не слышит, в государствах Европы, где укрылись бывшие фидайны, никому не пришло бы в голову сказать просто-напросто «Мясник из Аммана».

«Это не оскорбление. Бедняга любит блондинок и дрожит, когда из открытого окна наблюдает за бойней. Я трахаю тебя и трахаю блондинок, я убиваю, убиваю. Для этого есть его черкесы, его Мухабарат, его бедуины».

«Простота Его Величества удивляет. Я оказываюсь рядом

---

<sup>23</sup> Тайная полиция королевства Иордания.

с Ним довольно часто. Он садится, опираясь на одну ягодицу, видите, как он робок, на краешек кресла, видите, как он любезен, еще бы, ведь образование Он получил в Великобритании. Он выслушивает несколько слов, поднимается и уходит. Говорит несколько слов по-английски, просто, как наследные принцы. Впрочем, Он бедуин».

«Его огромная гордость: быть, и быть лишь бедуином из Хиджаза. Он входит. В гостиной гаснут все люстры. Он приближается – маленькая керосиновая лампа с шелковым сиреневым абажуром протягивает руку для поцелуя».

«Это опора Короля Хусейна, если бы он не смирил палестинцев, ЦАХАЛ<sup>24</sup> был бы сейчас в Эр-Рияде<sup>25</sup>».

«Этому человеку не повезло. Подойдите к своему стулу – поскольку стены стенают, послушайте меня:

«Его дедушка король Абдалла: убит на выходе из мечети в Иерусалиме. Кровь».

«Его отец сумасшедший. Кровь».

«Его наставник Глабб-паша, убрали. Кровь»

«Его отец, король Талал, умер от психоза в Швейцарии. Кровь». «Палестинцы. Кровь».

«Его премьер-министру Мухаммаду Дауду дала пощечину шестнадцатилетняя дочь. Кровь».

«Другой премьер-министр Васфи Таль убит в Каире.

---

<sup>24</sup> Армия обороны Израиля.

<sup>25</sup> Столица Саудовской Аравии.

Кровь».

«Бедный король Хусейн, сколько смертей на его маленьких руках».

Так пели в Аммане в июле 1984.

Некий особый взгляд через призму мог бы нам все объяснить – но взгляд на что? Несколько лет назад в различных частях арабского мира можно было встретить эдакую учительницу младших классов, очень добрую, посвятившую жизнь помощи обездоленным. Она держалась на равных с любым мужчиной, любой женщиной, любым ребенком, с человеком любого звания и сословия: по рождению она была принцессой Орлеанской. На фоне такого величия презрение – если оно и было – становилось незаметным, о нем не догадывались ни эмиры, ни арабские попрошайки, она знала: она принцесса, состоящая в родстве с монаршими домами Европы, ее одинаково заботили и голод в деревне, и родство какого-нибудь шейха с Пророком.

Но кто или, вернее, что заставило меня вернуться в этот дом? Желание увидеть Хамзу четырнадцать лет спустя? Его мать, которую безо всякого путешествия мне нетрудно было представить старой и исхудавшей? Или потребность доказать самому себе, что я принадлежу, *хочу я того или нет*, к касте проклятой, но втайне желанной, где самые именитые не отличаются от самых обездоленных? Или может, без нашего ведома был выткан невидимый шарф, соединивших нас? Хусейн высмеять ее не мог: он не из Орлеана.

Трущобы в королевстве. В осколке разбитого зеркала они видят отражение своих лиц и тел, величие, которое им там удастся рассмотреть, проступает, словно в каком-то полусне; и всегда этот сон предшествует смерти. Каждый готов явиться во Дворец, и с тринадцати лет все носят шелковые платки, вытканые во Франции, скроенные и сшитые специально для трущоб королевства, ведь надо знать цвета и узоры, приметные, как завитки на лбу. Взаимоотношения между трущобами и внешним миром существуют, они ограничены продажей платков, брильянтина, парфюма, пластмассовых пуговиц, фальшивых наручных часов из фальшивой Швейцарии, а взамен – бордели и траханье. Платки, рубашки с машинной вышивкой должны быть «к лицу», то есть, подчеркивать красивую физиономию парней. Платки, рубашки и часы имеют свой смысл: отношения возможны. По этим символам эмиссары из Дворца, вербовщики из полиции опознают тех, кто их призывает, видят их скрытые или выраженные особенности. Такой-то готов рисковать жизнью, другой предлагает свою мать, сестру, а то и обеих, третий – командный голос, жопу, глаз, любовный шепот на ушко, и нет такого, кто повязал бы на шею платок, не соответствующий его сильной стороне. Рожденные в результате случайного совокупления и возвращенные под ржавым небом бидонвиля, все они прекрасны. Их отцы пришли с юга. У мальчишек слишком рано проявляется эта дерзость самцов, которым угото-

ван тяжкий труд или улыбка фортуны за пределами этих трущоб и за пределами самого королевства. Есть среди них светловолосые: скандальная, вызывающая, кричащая красота, настоящая провокация.

«Только при нас. Наши кудри волосы, наши шеи и бедра. Можно подумать, Жан, что ты не знаешь, как сияют наши бедра?»

Вот еще вопрос: этот королевский Дворец – бездна, куда может низвергнуться бидонвиль, или бидонвиль – бездна, увлекающая в себя Дворец со всей его пышной обстановкой: что из них реальность, что отражение? На самом деле это даже неважно, Дворец – отражение, реальность – бидонвиль, и наоборот. Достаточно сначала посетить королевский Дворец, а затем бидонвиль. Взаимодействие сил настолько тесное, что задаешься вопросом: а что если очарование, о котором так часто говорят, возможно лишь в условиях этой привычной конфронтации, полной ненависти и желания нравиться, когда король с завистью смотрит на нищету мужчин и женщин, изнемогающих в стремлении выжить, мечтает предать – но кого? – знает, что богатство и роскошь должны познать искушение крайней нуждой. Какой гениальный пинок швырнул голого ребенка, согретого дыханием вола, пригвожденного медными гвоздями, вознесенного благодаря предательству к вечной славе? Предатель это всего лишь человек, перешедший в стан врагов? И это тоже. Пётр Досто-

почтенный, аббат Ключи, решил заказать «перевод» Корана, чтобы изучить и понять его. Помимо осознанного стремления к утратам – а они неизбежны, ведь при переходе с одного языка на другой божественное сочинение равнодушно передает лишь то, что происходит, то есть, всё, кроме божественного – Петром, вероятно, руководила еще одна тайная потребность: предать (она проявляется своеобразным пританцовыванием на месте, как будто человек хочет писать). Искушение перейти «на противоположную сторону» это уже проявление тревоги оттого, что обладаешь единственной одномерной истиной – то есть, неистинной истиной. Познание другого, которого считаешь скверным, поскольку он враг, уже означает битву, а еще тесное переплетение тел двух сражающихся и двух учений, так что одно оказывается то тенью другого, то его двойником, то субъектом и объектом новых мечтаний, новых размышлений. Это нераспознаваемо? За потребностью «пере-вести», за которой скрывается – невыявленная еще – потребность «пере-врать», то есть, «предать», и в самой попытке предательства увидится некое счастье, сравнимое, возможно, с любовным опьянением: кто не познал опьянения предательством, тот ничего не знает об исступлении и восторге.

Предатель не вне, но внутри каждого. Дворец отбирал своих солдат, доносчиков, сукиных сынов из того, что оставалось от населения, опрокинутого навзничь, и бидонвиль отвечал насмешками и издевками. Скопище монстров и

невзгод, бидонвиль, созерцаемый из Дворца и созерцающий его сам со всеми своими невзгодами, знавал наслаждения, неведомые больше нигде. Торс на двух ногах перемещался за сумерками вслед, а сумерки тоже перемещаются на двух ногах от утра до вечера, а из торса торчит рука, на конце которой огромная, словно кропильница, ладонь, это чаша для жертвований из настоящего сырого мяса, требующая лепту тремя полупрозрачными пальцами. Запястье высовывалось из лохмотьев, к тому же, американских, истрепанных, мятых, грязных, все больше смешиваясь с грязью и дермом, а потом их самих продадут как лохмотья, грязь и навоз. Чуть дальше, тоже на двух ногах, приближается женский половой орган, голый и бритый, пульсирующий и влажный, он хочет прижаться ко мне; а где-то один неподвижный глаз, одно глазное яблоко без зрачка и зрительного нерва, без взгляда, который бывает порой острым, глаз, подвешенный на небесно-голубой нитке; а еще где-то задница, а вот усталый член болтается меж двух вялых бедер. Предательство везде. Всякий наблюдавший за мной мальчишка пытался продать отца или мать, а отец – пятилетнюю дочь. Было тепло. Мир разрушался, словно его распарывали по шву. Небо существовало где-то далеко, а необъяснимый покой – здесь, где имелись только обязанности. Под жестяными крышами день оставался серым и такой же ночь. Прошел парень, одетый по американской киномоде 30-х годов. Лицо было напряженным, чтобы расслабиться, он что-то насвистывал.

Это бордель для презренных арабов. Ад или средоточие ада, место абсолютного отчаяния или успокоения, облегчения, то есть, сортир, облегчаться ходят туда, это место погребели, этот квартал борделей по причинам совершенно непостижимым мешал бидонвилю растекаться дальше, смешиваться с глиной, на которую был заботливо поставлен. Он, этот квартал, прикреплял бидонвиль к остальному миру то есть, ко Дворцу. Здесь занимались любовью, и сутенеры, сводни, шлюхи, клиенты бодрствовали ночами, обрекая себя на так называемую нормальную, то есть, ограниченную и убогую любовь. Никакой содомии, минетов, только традиционное торопливое траханье лежа или стоя, никакого облизывания и покусывания члена, п...ы или задницы: вполне себе супружеская, унылая любовь, миссионерские позы. Что до эротических фантазий, их смаковали – и практиковали – в будуарах и кулуарах королевского Дворца, глаз различает малейшую деталь почти последней картинки, ставшей совсем увешанного зеркалами, где имелись целые зеркальные стены, и в них любая ласка воспроизводилась до бесконечности, до той самой бесконечности, в которой крошечной, увиденной под неожиданным углом, неожиданным, но долгожданным, кадрирующим желаемое изображение: а на картинке – бидонвиль. Или что-нибудь другое. Надо ли говорить, что люди Дворца были изысканней, чем обитатели бидонвиля? А сами-то бидонвилыцы знали, что они существуют в мозгу Дворца, обостряя его наслаждения?



Развращаясь, каждый чувствовал, как облегчается, утешается, избавляется от нравственного и эстетического бремени, а бордели видели, как к ним, пресмыкаясь, ползут желания, которые надо быстро удовлетворить. Тот, кто направляется в бордель, тащится туда, как сороконожка, волочась брюхом по глине, ища и находя пульсирующую влажную дыру, где за пять мгновений и пять толчков исчезает все напряжение этой недели. Если бы иностранец – араб или не обязательно – мог сюда добраться, он убедился бы, что в борделе выживает хранимая и оберегаемая цивилизация, цивилизация тесного, почти благоговейного контакта с отбросами, что в Европе называют грязным. Там всегда был заведен будильник. За пять минут клиент отделился от своих мечтаний. Восемнадцатилетний парень, который желает проникнуть во Дворец или в сообщество полицейских шпииков, должен бояться застигнуть своего отца срушим: неопытный юнга сокрушает ударом каблука рожу сидящего на корточках отца или заявляет, что этот человек приехал из Норвегии. Отсутствие морали пугает, но никому не внушает отвращения. Испражнения утешают, они находят отклик у нас в душе, они удерживают нас на краю. Шагает задница, пытается исполнить свою функцию. Чтобы дойти до этого состояния, нужно было изжить гордость быть собой, гордость иметь имя, фамилию, потомство, родину, идеологию, партию, могилу, право на гроб с двумя датами, рождения и смерти – случайного рождения и случайной

смерти – сложно назвать «случайностью» эту Абсолютную Сверхчувственность, повелевающую в Исламе Небом и Землей. Между Дворцом, Королем, Двором, Конюшнями, Лошадьми, Офицерами, Слугами, Бронеавтомобилями, Бидонвилем существует сложная система обмена, неявная, но четко определенная. Она устанавливает уровни того и другого места. Все происходит постепенно и вот как: у Дворца свое величие, и это нищета. Приказы Короля-Солнце и придворных мифологичны. Жестокость полиции объясняется ее готовностью повиноваться как можно проворнее и как можно лучше. Бидонвиль сдерживает, смягчает, обуздывает это наивное проворство. Очень красивые, порождения невероятных соитий, парни переходят из борделя в бордель, где все то, что происходило там прежде, озаряет их тела и лица. К их красоте прибавляется дерзкое презрение. Этот самец не монах, а монарх. Дабы упрочить свою власть, Дворцу нужна сила, которая вырывается по ночам из бидонвиля.

«Я сила. Я бронемашина».

Дойдя до этого момента в своих фантазиях, я задаюсь вопросом: кто автор всего этого: бог, но не какой попало, а тот, кто нет, не воскреснет, но родится впервые на куче ослиного и воловьего навоза, будет странствовать по миру борделей, прозябать, умрет на кресте и станет силой.

– Ты мог бы продать свою мать?

– Я продал. Когда выползаешь на четвереньках из задницы, легко продать эту задницу.

– А Солнце?

– Сейчас мы братья.

Нищета деревень приводит в столицу, то есть, под небо цвета ржавой жести, отбросы, у которых одно лишь предназначение: произвести на свет прекрасных мальчиков. Дворец расходует много молодежи.

«Это чтобы поддерживать порядок, либо грязный, либо искромсанный Солнцем».

Что за красота у этих вышедших из бидонвиля подростков? В первые годы их жизни может, мать, может, какая-нибудь шлюха дает им осколок зеркала, которым они ловят луч солнца и пускают его в окно Дворца, и перед этим открытым окном, познают все части своего лица и тела.

Когда отряды бедуинов откапывали, чтобы убить во второй раз – ритуальная фраза: «облегчиться на сотню патронов» – фидаинов, погибших между Аджлуном и сирийской границей, король пребывал в Париже. Он оставил на три дня свои убийства, чтобы испытать новую модель Ламборджини? Его брат, регент королевства, остался в Аммане. В двадцати километрах от столицы лагерь Бакаа внезапно был окружен тремя линиями танков. Торговля между женщинами лагеря и иорданскими офицерами продолжалась два дня и две ночи. Старые вызвали жалость, те, кто помоложе – желание, и все они пытались предъявить то, что могло бы тронуть военных: детей, груди, глаза, морщины. А мужчины из лаге-

ря, казалось, не замечали эту праведную проституцию. Отвернувшись, они группами по трое или пятеро молча ходили по грязным улочкам. Курили, перебирали янтарные четки. Представьте себе тысячи окурков с золотым ободком на конце, сигареты, которые отбрасывали, едва закурив. Эмираты снабжали сигаретами, чтобы у палестинцев была возможность изучить географию Персидского залива. Мужчины отказывались разговаривать с офицерами короля Хусейна. Еще я думаю, что фидайны (а все мужчины лагеря были фидайнами) договорились с женщинами, молодыми и старыми: женщины разговаривают, мужчины молчат, чтобы своей решимостью, действительной или притворной, произвести впечатление на иорданскую армию. Сегодня я полагаю, что решимость была все-таки притворной, но офицеры-бедуины не знали, что присутствуют на театральном представлении, изображающем спасение. Чтобы помешать иорданцам войти в лагерь, палестинцам нужно было продержаться еще один день и одну ночь. Женщины кричали, дети, которых они несли на спине или держали за руку, чувствовали опасность и кричали еще громче. Толкая перед собой повозки, битком набитые детьми, мешками с рисом, картофелем, чечевицей, они пересекли проволочное ограждение. Мужчины по-прежнему молча перебирали четки.

– Мы хотим вернуться домой.

Женщины стояли на дороге, ведущей к Иордану. Среди офицеров воцарилось смятение.

– Как стрелять в женщин и повозки с детьми.

– Мы идем домой.

– А куда это – домой?

– В Палестину. Пешком. Мы пересечем Иордан. Евреи человечнее, чем иорданцы.

У офицеров был сильный соблазн стрелять в женщин и их выродков, которые собрались, видите ли, прогуляться до Иордана, километров сорок.

«Ваше величество, позвольте совет – не стреляйте».

Кажется, такую фразу произнес Помпиду, обращаясь к Хусейну.

Если посол Франции в Аммане был довольно глуповат, Помпиду от своих шпииков знал о женском бунте. Один французский священник, имя которого я предпочитаю забыть, поскольку он еще жив, был посредником при переписке некоторых палестинских деятелей и, возможно, теми, кого именовали тогда французскими левыми, связанными с левым крылом Ватикана; иорданские власти, узнав о его присутствии в лагере, отдали приказ политическому и военному руководству сдать его полиции королевства.

Дворец Правосудия в Брюсселе, памятник Виктории и Альберту в Лондоне, «Алтарь отечества» в Риме, парижская Опера, которые считаются четырьмя жемчужинами архитектуры, на самом деле, самые уродливые сооружения Европы. Впрочем, одно из них достойно помилования. Когда маши-

на выезжает из внутреннего двора Лувра и оказывается на проспекте Оперы, в глубине предстает Опера Гарнье. Ее венчает что-то вроде серо-зеленого купола, и вначале заметишь именно его. Когда женщины покинули лагерь Бакаа, намереваясь отправиться домой, в Палестину, король Хусейн, направляясь на обед в Елисейский дворец, как раз ехал по проспекту Оперы. И единственное, что он успел увидеть, был этот серо-зеленый купол с гигантскими белыми буквами: ПАЛЕСТИНА ПОБЕДИТ. Танцовщики, танцовщицы, рабочие сцены Опера Гарнье ночью перед проездом кортежа поднялись на крышу и начертили это послание. Король прочел его. Ни одно место в мире не защищено от террористов, в том числе, и это здание Оперы, который облюбовал себе Фантомас, где в подвале поселился Призрак Оперы, и вот теперь на чердаке – фидайны. Под солнцем и дождем это предупреждение из двух слов будет виднеться еще долго, несмотря на приказ Помпиду. Который в душе, должно быть, веселился.

Но раз двадцать или больше мне довелось увидеть на серых парижских стенах неподалеку от Оперы ответ израильтян на это ПАЛЕСТИНА ПОБЕДИТ, нанесенную с помощью аэрозольного баллончика надпись, торопливые, неброские, почти робкие буквы: *Израиль будет жить*. Всё это происходило через два-три дня после событий, которые в своих воспоминаниях я называю: палестинцы, последний бал в лагере Бакаа. Неизмеримо бóльшая сила ответа – не возраже-

ния – на преходящее «победит» это вечное «будет жить». В парижской полуночи риторика Израиля, выраженная этими торопливыми неброскими буквами, оказалась сильнее.

Можно понять, что какой-нибудь народ готов погибнуть ради своей территории, как алжирцы, или родного языка, как бельгийские фламандцы или северные ирландцы, нужно принять, что палестинцы сражаются против Эмиров за свои земли и свой акцент. Двадцать одна страна Лиги наций говорит по-арабски, палестинцы в том числе, и едва заметный, сложный при восприятии для непривычного уха, этот акцент все-таки существует. Деление палестинских лагерей на кварталы, примерно соответствующие палестинским деревням, «наложение» географии в реальном масштабе, для них не так важно, как этот акцент.

Приблизительно это сказал мне Мурабак в 1971 году. Когда я предложил одному арабу подвезти его на машине на расстояние сто шестьдесят километров туда, куда было ему нужно, он убежал, попросив меня подождать его. За каких-то пятнадцать минут он проделал два километра и вернулся со своим единственным сокровищем: слегка поношенной рубашкой, завернутой в газету. *Filium que* (сын, который) – и вот уже пылает другая религия. Ударение на первый или на предпоследний слог – и вот уже два народа отказываются друг друга понимать. То, что нам кажется ничтожным, становится единственным сокровищем, которое нужно сбе-

речь даже ценой своей жизни.

И не только акцент, одна добавленная или пропущенная буква может привести к трагическому исходу. Во время войны 1982 года водителями грузовиков были ливанцы или палестинцы. Какой-нибудь фалангист, раскрывая ладонь, спрашивал:

– Это что такое?

Пуля в голову или жест рукой. Слово «томат» араб из Ливана произнесет как *banadouran*<sup>26</sup>, а палестинский араб – *bandoura*. Одна лишняя или пропущенная буква была равноценна жизни или смерти. Каждый квартал в лагере пытался воспроизвести покинутую палестинскую деревню, вероятно, разрушенную ради строительства электростанции. Но деревенские старики беседовали между собой, когда-то они бежали, унеся свой акцент, а иногда и нерешенные споры. Здесь был Назарет, в нескольких улочках отсюда Наблус и Хайфа. Потом медный водопроводный кран: справа Хеврон, слева бывший Аль-Кудс (Иерусалим). А рядом с краном женщины, ожидая, пока наполнится водой ведро, приветствовали друг друга на своих наречиях, со своим акцентом, словно поднимали хоругви, возвещающие о происхождения того или иного наречия. Несколько мечетей с цилиндрическим минаретом, два-три купола. Когда я там был,

---

<sup>26</sup> На самом деле, слово помидор в Ливане произносится как «банадур», а в Палестине как «бандора». Именно манера произношения во время гражданской войны в Ливане могла стоить жизни. (*Прим. ред.*)



мертвых еще хоронили в Аммане, на склоне горы, обращенном к Мекке. Мне довелось присутствовать на многих похоронах, и я знаю, что в Тье, как и на Пэр-Лашез, компас указывает на Мекку, но могила, просто лунка в земле, походила на узкую трубу, присутствующие вынуждены были порой утаптывать покойного, чтобы он уснул.

Игры слов или игры акцентов во все времена и во всех странах зачастую были причиной сражений, порой довольно жестоких. Всем ворам доводилось иметь дело с судьями, от которых нельзя было спастись. Зачитывая в суде наше уголовное дело, они умели голосом передавать любые оттенки и звучание слова. Торжествуя:

– Украл!

– Украл!

Пауза, и внезапно нежным, мягким тоном отчетливо произнося каждую букву в отдельности, чтобы даже на скамье подсудимых остался след нашей вечной вины:

– У-к-р-аааа-л!

– Украл. Срок. Украл, точка.

И опять, в очередной раз в истории восстаний женщины послужили приманкой. Неприоритетное требование: не выдать этого христианского священника. Неприоритетное требование: спасти лагерь. Стремление к побегу, театрально-сти, маскараду, изменению голоса, жестикуляции и женщины дрожат от удовольствия, между тем как удовольствие для мужчин – трусить и важничать. На эту же тему: «Сделаем

вид, что оскорбление слишком велико, ведь мужчины бедуины хотят войти к нашим женщинам», женщины отважились на этот сценарий и разыграли его, как по нотам:

Регент позвонил Хусейну. Тут и Помпиду со своей знаменитой фразой. Как обычно, настала ночь. Как и полагалось, пять знамен, означающих, справа налево, Отца, агнца, крест, Деву Марию, Младенца, должны были возникнуть перед иорданскими танками. Появились подростки в красных платьях и белых, длинных кружевных корсажах, неся нечто вроде золотого солнца. И эта процессия, поющая, возможно, по-гречески, направилась в сторону танков. Каждый иорданский солдат должен был глубокой ночью открыть глаза и уши и принять живого или мертвого французского священника. Вокруг маленькой греческой церкви в Аммане все уже видели подобные церемонии, на которые смотрели, вытаращив глаза. Но они не видели пожилого крестьянина в бархатных брюках, с красным шарфом вокруг шеи, который один преодолевал проволочное ограждение. Возле танков бодрствовали женщины рядом со своими уснувшими детьми. Наступило утро: радостные, улыбающиеся женщины взяли за руки иорданских офицеров и привели их во все дома лагеря, предусмотрительно открыли каждый коробок спичек, каждый пакет мелкой и крупной соли, чтобы те убедились: в доме не прячется ни один кюре. Через неделю после возвращения Хусейна состоялась церемония примирения между армией бедуинов (которых только что обманули, да еще как

обманули, женщины и мужчины, способные, наконец, долго болтать и улыбаться) и фидаинами, совсем как в средневековой Европе, когда короли-братья сжимали друг друга в объятиях так сильно, что один душил другого, или, если вам угодно, как примирение между Китаем и Японией, между двумя Германиями, Францией и Алжиром, Марокко, Ливией, Голлем-Аденауэром, Арафатом-Хусейном, и я не вижу конца этим лицемерным объятиям. Мы ждали праздника, и он наступил.

Хусейн прислал несколько корзин и ящиков с фруктами, Арафат принес бутылки с соком: кокосовый, манговый, абрикосовый, не помню еще какой, на площадку перед лагерьем, где провели ночь женщины и оружие дети. Все произошло так, как я излагаю?

За несколько месяцев до этого солдаты (немного) и офицеры (еще меньше) дезертировали из бедуинской армии. Некоторых из них я встречу, среди них молодого младшего лейтенанта, белокурого, с голубыми глазами. Если я спрошу его, откуда эта его белокурость и небесная синева взгляда, он поведаст мне о полях пшеницы провинции Бос и синих французских мундирах времен первых крестовых походов, «потому что ведь я, как и другие, потомок франкских крестоносцев». Разве араб имел право быть светловолосым? Я вслух спросил:

– В кого ты такой белокурый?

– В мать. Она югославка, – ответил он по-французски без

акцента.

Офицеры, по-прежнему «лояльные» Хусейну, вероятно, отвернулись, чтобы не видеть, как выходит из лагеря священник, которого все разыскивают. Он прошествовал не спеша, в своем зеленоватом одеянии, на нем было вязаное красное кашне и фуражка с логотипом Национальной оружейной мануфактуры в Сент-Этьен, (департамент Луара). Пользуясь ночной темнотой, палестинские мужчины препроводили священника в Сирию, где он сел на самолет до Вьетнама.

Чтобы быть ближе к событиям, я пришел ранним утром с одним египетским другом. На деревянных столах, застланных белыми скатертями, я сначала увидел горы апельсинов и бутылки фруктового сока. Но куча народу поднялась еще раньше меня: целый батальон бедуинов из пустыни с двумя перекрещенными на груди патронташам; две группы фидаинов без оружия, фотографии со всего света, журналисты, киношники из арабских или мусульманских стран. Танец бедуинов целомудрен, мужчины танцуют друг с другом, касаясь партнера локтями или указательными пальцам. Но он и эротичен, потому что танцуют только двое мужчин, а еще потому, что танцуют они перед женщинами. Так кто же, он или она, пылает от желания встречи, которой никогда не будет?

Можно ли сказать, что бывает праздник без опьянения? Если у праздника нет цели вызвать опьянение, вероятно, туда стоит прийти уже пьяным? Бывает ли праздник без запретов, от которых можно отступить? Бывает: это праздник

«Юманите» в Ла-Курнев. Поскольку алкогольные напитки Коран запрещает, тем утром все пьянели от песен, танцев, обид, или, если угодно, обид из-за песен и танцев. На земляную площадку я смотрел немного снизу. Рядом с фидаинами в гражданской одежде, которые еще стояли неподвижно и казались какими-то напряженными, уже начинали танцевать солдаты-бедуины под аккомпанемент собственных криков, возгласов и стука босых ног о бетон. Так и есть, чтобы было удобнее танцевать, они сняли башмаки, зато оставили обмотки. Эти бедуины использовали танец, как за неделю до этого палестинцы использовали своих женщин, мне показалось, танец был признанием, почти разоблачением, почти изобличением их женственности, которая так диссонировала с грубыми торсами, на которых перекрещивались патронташи такие полные, что если бы взорвался хоть один из них, на воздух взлетел бы целый батальон бедуинов, но в этой готовности принять смерть, а возможно, не просто готовности, но и желании, коренилось их мужское начало, и отвага тоже.

Вот как они танцевали: сначала в одном ряду, затем разделившись надвое. Десять, двенадцать, четырнадцать солдат держались за руки, как бретонские новобранцы, затем добавлялся еще один ряд из двенадцати танцующих, и снова рука об руку, крест-накрест, одетые в длинные, застегнутые до самых икр, до обмоток, туники. Из обязательного: тюрбан и усы, но зубов под ними не видно, солдаты-бедуины, ставшие сегодня победителями, не улыбались. Не то, что ко-

мандиры. Их солдаты были слишком застенчивы и, наверное, уже знали, что через улыбку может просочиться ярость. В двухтактном ритме, слегка напоминающем овернские мелодии, бедуины высоко вскидывали колени, выкрикивая:

– *Ya ya El malik!*<sup>27</sup> (Да здравствует Король!)

Напротив них, но в некотором отдалении, палестинцы в штатской одежде неуклюже копировали танец бедуинов и, смеясь, отвечали:

– *Abou Amar!* (Яссер Арафат!)

Ритм был таким же: *Ya ya El malik* звучит как «*Yaya! malik*». Четыре слога, произнесенные иорданцами, четыре палестинцами, ритм такой же и танец почти такой же, почти – потому что это был остаток танца, обрубков танца, изнуренное отражение, затихающий отголосок нескольких па забытого танца, эдакий плохо завязанный галстук как вызов обязательному дресс-коду, где уже не было угрюмой торжественности бедуинов, которые надвигались почти угрожающе, резко, словно толкая перед собой и взвихрив вокруг себя пустыню-сообщницу, призванную их защитить. Их «*Ya ya*» было не просто данью уважения королю, это был оскорбительный плевок в лицо палестинцам, все более смущенным своей неуклюжестью – своей неполноценностью – в этом спектакле. Бедуины танцевали, а вокруг них танцевала пустыня и тьма времен. И я еще задаюсь вопросом: может, этот

---

<sup>27</sup> На самом деле данное восклицание звучит, как «*Яхья аль-малик!*» (Прим. ред.)

танец закованных в броню песка и пуль бедуинов, который становился всё более суровым, всё более мощным, когда-нибудь сделается таким суровым и мощным, что разрушит то, что призван был защищать: королевство хашимитов; а потом и саму Америку, а потом покорит небо, встретит там фидаинов, говорящих на их языке. Возможно, язык – это механизм, который быстро осваивают, чтобы высказывать мысли, но не следует ли под языком понимать и другое: воспоминания детства, слова, синтаксис, который усваиваешь еще в младенчестве, гораздо раньше, чем лексикон, все эти камешки, солома, названия трав, водный поток, головастики, рыбы, времена года, названия болезней – женщина «умирала от чахотки», рядом с которыми прочие слова: туберкулез, легочная болезнь, становились тривиальными – крики и стоны любви тоже корнями из детства, наше изумление, наше внезапное осознание...

– Ты красный, как рак!

Что за нелепость! Рак серый, почти черный. Он пятится, мы видели его в ручье. Да, он серый, но надо было подождать и увидеть, как рака бросают в кипящую воду, в которой он умирает и становится красным. Бедуины и фидаины говорили на разных языках. Для тех и для других «красный рак» остался чем-то загадочным. Танцуя все хуже и хуже, палестинцы должны были уступить. Резкий свисток: один из командиров понял это, жестом указал на стол и фрукты. Спасены! Сейчас это означало «спасти лицо», и, изображая

нестерпимую жажду, взмыленные танцоры ринулись к бутылкам и апельсинам. Бедуины и палестинцы так и не обменялись ни единым словом.

Ненависть кланов, даже если поддерживается искусственно, может быть чудовищной. Вот еще несколько цифр: вся армия бедуинов насчитывала 75000 солдат из приблизительно 75000 семейств, всего официальная численность «чисто» иорданского населения – 750 000 человек. Бедуины, отвечая определенным образом на вопрос, который я задавал себе два-три дня назад, победили своим танцем.

Обособленные своей старомодной мужественностью, палестинцы превосходили бедуинов с их малопонятными привилегиями, не эпатируя при этом Израиль, между тем, как каждая жизнь, единственное богатство тех и других, была и будет прожита в своем исключительном великолепии.

Цифры, которые я привел, относятся к 1970 году.

Со стороны Аджлуна над лесами едва поднялось солнце.

– Тебе нужно на нее посмотреть. Идем с нами, мы тебе переведем.

Можно представить, как в шесть часов утра я был сердит на этих, разбудивших меня, мальчишек.

– Пей, тебе сделали чай.

Отбросив одеяла, они вытащили меня из палатки. Если я пойду за ними два километра по дороге вдоль орешника, то увижу ферму и ее хозяйку. К югу от реки Иордан холмы



у Аджлуна похожи на холмы французского горного массива Морван. Иногда встречается стебель наперстянки или жимолость, но в полях гораздо меньше тракторов и совсем нет коров.

Территория рядом со зданиями была тщательно ухожена, на это я обратил внимание сразу. В крошечном огорожке бывшие хозяева посадили петрушку, кабачки, лук-шалот, ревень, черную фасоль, а еще выющийся виноград, и каждая кисть уже тянулась навстречу утренним лучам. Стоя на пороге двери, изогнутой в форме романской арки, крестьянка смотрела, как ватага мальчишек куда-то тащит старика. Судя по ее морщинкам, по седым прядям, выбивающимся из-под черного платка, было ей около шестидесяти. Позже я напишу, что в 1970 матери Хамзы было под пятьдесят, а когда мы увиделись вновь в 1984, ее лицо было лицом восьмидесятилетней. Именно «было», а не «казалось» лицом восьмидесятилетней; из-за всех этих мазей, кремов, массажей, различных манипуляций с морщинками, кожей, целлюлитом я уже и забыл, каким стремительным может быть путь к немощи и дряхлости, то есть, к смерти и забвению; здесь, в Европе, я забыл, как разрушается лицо крестьянки, обожженное солнцем и морозом, усталостью, нищетой, отчаяньем, пока не сделается, как сказал бы злой ребенок, похожим на трюфель.

Она протянула мне руку и без улыбки поздоровалась, но затем поднесла к губам палец, которым касалась моей ру-

ки. Я поприветствовал ее точно также, а она поздоровалась с каждым фидаином, учитывая, но сдержанная, почти настороженная. Иорданка, она не гордилась и не стеснялась этого, просто говорила, что иорданка. Дома она находилась одна, поэтому в гостиную входить было нельзя. Впрочем...

– Здесь и для пяти места нет, а тут пятнадцать...

Говорила она свободно. Позже мне рассказали, что ее арабский был безупречен, как у профессоров. Босые ноги на соломенной подстилке. Изредка она читала газету. Единственным местом на ферме, где можно было бы разместиться нам всем, была примыкающая к дому овчарня, идеально круглая.

– А где стадо?

– Мой сын увел его вон туда. А муж водит мула в горы.

Так значит, тот иорданский крестьянин, с которым я по привычке здоровался каждое утро, и был ее мужем. Своего мула он сдавал внаем фидаинам, они каждый день поднимали на вершину горы бочки с провиантом для солдат, охраняющих безмолвные деревни. Здесь все было безмолвным. Время от времени я замечал в бинокль какую-нибудь крестьянку в черной косынке, которая бросала зерна курам или доила козу, она возвращалась в дом и закрывала за собой дверь. Мужчины должны были ждать снаружи с ружьем, линия прицела перемещалась с одной цели на другую, то есть, на склады, на палестинские патрули.

Накануне того утра, когда мы отправились на ферму, два

фидайна, улыбаясь, вошли во двор дома, где играли свадьбу. По обычаю хозяин должен предложить еду и питье каждому вошедшему, даже случайному прохожему. Все улыбались всем, кроме палестинцев, при их приближении улыбки гасли, они вышли, оскорбленные. Крестьянка предложила всем кофе. Чтобы приготовить его, она пошла в главную комнату, возможно, единственную в доме. Овчарня была круглой с устланной соломой полом. Каменный выступ по периметру внутренней стены служил скамьей. Мы уселись; мальчишки дурачились, женщина держала поднос с кофейником и пятнадцать пустыми стаканами, вставленными один в другой. Ей помогли.

– Но нас шестнадцать.

Мне показалось, что я неправильно понял. Здесь одинокая женщина никогда не сядет с нами, но мы все хотели, чтобы она стала шестнадцатой. Она не стала ломаться, просто отказалась. Присела на пороге овчарни, чуть приподнятом. Из-под платка не выбивался ни один волосок, видимо, пока готовился кофе, она привела себя в порядок перед зеркалом. Я сидел напротив, и ее силуэт четко выделялся на свету. Я видел ее крупные ступни, голые, загорелые, высывающиеся из-под широкой черной юбки в очень мелкую складку: Дельфийский возникший решил отдохнуть в овчарне. Когда ее спросили, она ответила, заговорив ясным, звонким голосом. Один парень, знавший французский, стал переводить, ее арабский, как шепнул он мне, был самым красивым, ка-

кой он когда-либо слышал.

— Мы с мужем совершенно согласны, что две половинки нашего народа это одна страна, вот эта страна. Мы были едины, когда турки основали Империю. Мы были едины до того, как французы и англичане с линейками разделили нашу страну на геометрические фигуры, которых мы не понимаем. Англии передали полномочия по управлению Палестиной, которая называется теперь Израилем, нам дали эмира Хиджаза, а Хусейн его правнук. Вы пришли ко мне с христианином, скажите ему, что я дружески приветствую его. Скажите ему, что вы наши братья и нам плохо, когда вы живете в палаточных лагерях, а мы в домах. А вот без того, кто называет себя королем, и без его семьи мы вполне можем обойтись. Он отправил отца умирать в тюрьму для сумасшедших, вместо того, чтобы заботиться о нем во дворце.

Обычно патриотизм это преувеличенно-восторженное утверждение своего суверенитета и воображаемого превосходства. Перечитывая написанное, я понимаю, что слова хозяйки фермы меня убедили, вернее сказать, тронули, как трогает всякая молитва в очень старинной церкви. Казалось, я слышал песню, в которой звучали чаяния народа. Когда думаешь о палестинцах, всегда нужно помнить, что у них ничего нет: ни паспортов, ни нации, ни территории, и если они воспевают это, если стремятся к этому, так это потому, что для них это всего лишь призраки. Иорданская крестьянка пела об этом, как о чем-то будничном. Самое волнующее,

самое музыкальное идет не от псалмов и деклараций, больше всего трогает сухое, без эмоций, высказывание, ведь самое очевидное передается однотонным голосом.

– Хусейн мусульманин и ты мусульманка, – смеясь, сказал какой-то мальчишка-provokator.

– Может быть, как и я, он любит запах резеды, вот и все сходство.

Сидя на пороге, она говорила около часа спокойным, безо всякого страха голосом. Затем встала, выпрямилась, давая понять, что ей пора работать.

Я подошел к ней и похвалил ее сад.

– Мы уроженцы юга. Мой отец был солдатом-бедуином. Ферму он получил за несколько недель до смерти.

Крестьянка не выказывала голосом ни гордыни, ни унижения, ни гнева, на каждый наш вопрос или замечание отвечала терпеливо и вежливо.

– Знаете, кто научил нас обрабатывать землю? Палестинцы, в 1949. Они научили нас пахать, отбирать семена, определять время для полива...

– Я заметил, у вас очень красивый виноградник, но он стелется по земле...

Она впервые улыбнулась, очень широко.

– Я знаю, в Алжире и во Франции виноградник должен виться и карабкаться вверх, как зеленая фасоль. Вы делаете из него вино. А для нас вино – это грех. Мы едим сам виноград. А созревшие на солнце гроздья вкуснее, когда они

лежат на земле.

Коснувшись кончиком пальцев каждого из нас, она смотрела, как мы уходим.

Вполне возможно, каждый палестинец в душе осуждает палестинскую землю за то, что она слишком легко поддалась, уступила сильному и хитрому врагу.

– Даже не возмутилась, не взбунтовалась! Вулканы могли бы плевать, грохотать, могли бы ударить молнии, устроить пожар...

– Молнии? Но у нас с евреями одно небо, вы разве не знаете?

– Но так поддаться! Где же знаменитые землетрясения?

Даже этот гнев – не только вербальный, но рожденный болью и горем – усиливал решимость сражаться.

– Запад имеет наглость защищать Израиль...

– На высокомерие сильных ответит жестокость слабых...

– Даже слепых?

– Даже слепых. Ради цели слепой и прозорливой.

– Что ты имеешь в виду?

– Ничего. Это я злюсь.

Ни один фидаин не выпускает из рук ружья, он то носит его на ремне через плечо, то держит горизонтально на коленях или вертикально между ног, не подозревая, что сама по себе эта поза является вызовом – эротическим или сулящим

гибель, а может, и тем, и другим. Ни на одной базе я не видел, чтобы фидаин расставался с ружьем, разве что во сне. Готовит ли он еду, вытряхивает покрывала, читает письма, оружие казалось более живым, чем сам солдат. Я даже думаю, что если бы крестьянка вдруг увидела, как к ней приходят дети без оружия, она бы метнулась в дом, оскорбленная видом обнаженных подростков. А так она не была удивлена: ее окружали солдаты.

Когда мы вышли от нее и за поворотом увидели небольшой орешник, фидаины бросились врассыпную, оставив меня одного на дороге. Они углубились в лесок и каждый, пытаясь укрыться, спрятаться от других, спокойно, как дети, которые садятся на горшок – хотя полы их белых рубашек чуть виднелись сквозь листву – присели и стали срать. Думаю, они подтирались листьями, сорванными с низких веток, а потом вернулись строем на дорогу, уже аккуратно застегнутые, по-прежнему с оружием, по-прежнему распевая импровизированный марш. По возвращении приготовили чай.

Когда я вспоминал эту крестьянку, иногда она виделась мне мужественной, умной женщиной, а порой мне казалось – и я не мог помешать себе так думать – что она прекрасно умеет скрывать свои мысли и чувства. По негласному договору, как и все жители Аджлуна, она и ее муж притворя-

лись: он – другом (до раболепия!) палестинцев, она же, хитрая и лукавая, проявляла дипломатичность и политический расчет. Может, это была чета коллаборационистов, так одни французы называли других французов, сотрудничающих с немцами, или этой паре было поручено изображать симпатию, чтобы лучше информировать иорданские войска? В таком случае, возможно, именно они предоставили самые важные сведения, благодаря которым сделалась возможной июньская резня 71 года? Я до сих пор не понимаю, почему эта крестьянка была так настроена против Хусейна. Может, в ее родне были палестинцы? Ей нужно было расквитаться? Или она вспоминала, что когда-то ее спасли палестинцы? Я до сих пор задаю себе этот вопрос.

Столько уловок, ошибок, оптических иллюзий могло быть обнаружено журналистами, причастными к мятежу или ослепленными его сиянием, незатейливость этих явлений должна была бы их насторожить; а я не помню ни одной статьи в прессе, где выражалось бы удивление банальностью или наивностью этих оптических иллюзий. Газета, пославшая их так далеко, требовала, возможно – ведь она тратила реальные деньги – чтобы события были трагическими, ведь только трагические события достойны таких посланцев: фотографы, операторы, репортеры. Пресловутое выражение: «Проходите, здесь нечего смотреть», приписываемое парижским копам, имело другое происхождение: еще задолго до



этого журналистам был запрещен доступ на базы – стой! секретный объект! – базы были такой запретной зоной, куда никто не допускался, и все, должно быть, думали, не решаясь произнести это вслух, что там *нечего смотреть*. В памяти всплывают чудесные мгновения, а моя книга и есть – но скажу ли я об этом? – накопление таких мгновений, все ради того, чтобы утаить это великое чудо: «*здесь нечего смотреть и нечего слушать*». А может, это что-то вроде заграждения, воздвигнутого, чтобы скрыть пустоту, множество подлинных подробностей, которые по аналогии придают подлинность другим подробностям? Не в силах воспрепятствовать этому тривиальному способу хранить военные секреты, я чувствовал беспокойство: ООП использовала скрытые или цинично-демонстративные методы победивших государств.

В самом деле, я не увидел и не услышал ничего такого, что нельзя было разгласить, но может, это из-за своей наивности или рассеянности – с таким изумлением, например, я рассматривал на какой-то базе колонию семенящих вереницей гусениц-шелкопрядов, и эта рассеянность и отрешенность были так некстати, что находящиеся рядом фидайны проголодались и замерзли, поджидая меня? Возможно, Абу Омар видел во мне некоего легкомысленного союзника или лишенного проницательности старика, которой, что бы важного и значительного ни произошло, не проболтается, не поймет, обратит на это не больше внимания, что и на вереницу ползущих гусениц.

Фидаин, так хорошо переводивший мне с арабского слова той крестьянки, неожиданно сократил дистанцию, которая вопреки его и моей воле пролежала между нами. Он пригласил меня на ужин в честь дня рождения отца, бывшего османского офицера.

Застыв в пыльной убогости, свойственной крупному арабскому поселению вплоть до совсем недавних времен, во всяком случае, в семидесятые было именно так, Амман, как и многие другие столицы арабского мира, словно лежал в отрепьях. После множества смерчей, пронесшихся над Бейрутом, город словно хватил апоплексический удар. Нищета не дает забыть о том, что все арабы остерегаются палестинцев, и никто не попытался помочь народу, которого так истязали и мучили: враги израильтяне, революционные и политические разногласия, собственная душевная боль. Видимо, все полагали: народ, у которого нет земли, угрожает всем землям.

«Ливан, маленькая ближневосточная Швейцария» должен исчезнуть, когда исчезнет под бомбами Бейрут. Выражение «ковровая бомбардировка», которое твердят газеты и радио, подходит, как нельзя лучше: ковер из бомб, навалившийся на город, раздавил Бейрут; чем больше оседал город, чем больше домов складывались пополам, как будто страдая от колик, тем сильнее становился Амман, крепили мускулы, отрастало брюшко, появлялся подкожный жирок. По мере того, как спускаешься в старый город, все больше становится

обменных лавок: стена к стене, дверь в дверь, нос к носу, и все непосредственно из Лондона, из самого Сити. Как только солнце начинает печь особенно сильно, усатые смеющиеся менялы опускают железные шторы. В пропотевших футболках они расходятся по своим Мерседесам-с-кондиционерами. У них сиеста на собственной вилле в Джабаль Аммане. Почти все они палестинцы, а их жены – во множественном числе – толстые. Женщины просматривают журналы «Вог», «Дома и сады», едят шоколад, слушают на кассетах «Четыре времени года». Когда я приехал в июле 1984, Вивальди был очень моден, к моему отъезду подоспел Малер. Этому чуду очень шли вечные развалины: вечность и великолепие они берут у того, что их разрушает. Восстановите раненую колонну, покореженную капитель, и руина превратится в новодел. В пыли и грязи, благодаря своим римским развалинам Амман выглядел очень эффектно. Возле Ашрафии я прошел через виноградник. Фидаин-переводчик ждал меня. Вот мое описание: одноэтажный дом, похожий на дом Нашашиб<sup>28</sup>. Просторная гостиная открывалась прямо в абрикосовый сад. Сидя в кресле, отец Омара курил кальян. Ковер в гостиной был таким широким, большим и толстым, а его рисунок таким красивым, что мне сразу захотелось снять обувь.

«Тогда запахнет моими немытыми ногами, ногами почтальона, проделавшего пешком столько километров...»

---

<sup>28</sup> Нашашиб<sup>и</sup> – известная и влиятельная арабская семья из Иерусалима. (Прим. ред.)

На ковре уже стоял круглый одноногий столик с медовыми пирожными.

– Восточные сладости надо любить.

Отец Омара был высоким, худым, на вид довольно суровым. Седые волосы и усы, обрезанные коротко.

– Да-да, восточные, не верьте моему сыну, он решил, что их не любит, потому что при изготовлении не использовали метода научного марксизма-ленинизма. Месье, не стесняйтесь.

Добравшись до подушек, то есть, до края ковра, я вытянулся, опершись на локти. Омар, его отец, второй фидаин Махмуд сидели на корточках все трое, он были в носках, три пары туфель остались за краем ковра, на мраморных плитах. Я засмеялся, увидев, как в стеклянном шаре кальяна пузырится вода.

– Вас это удивляет и забавляет, – сказал мне бывший османский офицер.

– У меня забавное ощущение, что передо мной мой собственный живот, после того, как я выпил бутылку Перрье.

У Омара и Махмуда губы изогнулись в легкой улыбке. Правда, совсем легкой, почти незаметной.

– А про себя вы думаете вот что: ваш живот напротив вас, а мой рот вызывает в нем бурю.

Не то чтобы я «думал про себя», я, скорее, «ощущал про себя», и это ощущение было невозможно выразить словами вот здесь, на этом ковре, под этой люстрой из муранского

стекла, перед офицером. Я узнал, что ему восемьдесят.

Границы принятых в разговоре соглашений-условностей весьма зыбки, возможно, как и географические границы государств, и чтобы их подвинуть, тоже нужна война и герои, живые, раненые или убитые. Эти границы двигаются, чтобы защитить новые границы, в которых столько ловушек. Так что о Братьях-мусульманах я по-прежнему знаю немного.

– В прошлом году в Каире один писатель попросил меня поправить его статью на французском. Там было страниц сорок. Я начал читать и уже на второй странице стал задыхаться. Столько полных ненависти высказываний... Вот такое, например: *«нужно вооружаться против всего немусульманского... Сейчас идут забастовки. Богу нет ничего милее – ужасно для людей, но отрадно для Бога – чем «голодный» запах изо рта брата-забастовщика, появляющийся на десятый день, и запах изо рта атеиста, страдающего от голода».*

Когда марокканский юрист произносил это, на его лице читалось такое отвращение, что казалось, я наблюдаю фарс, еще более фальшивый, чем тирада того каирца. Он отказался править этот французский текст. Каждый член движения «Братья мусульмане», беседуя с французом, старается не выходить за обычные рамки беседы. Это был своего рода «закрытый фонд» «Братьев-мусульман», куда я так и не получил доступа, как прежде получали доступ в отдел специаль-

ного хранения Национальной библиотеки. Похоже, бывший офицер не боялся нарушить приличия. И здесь, как и после, когда я буду говорить об Абу Омаре и Мубараке, у меня должно получиться произведение, на первый взгляд искажающее истину, потому что, заполняя пустоты, я воссоздаю слова Мустафы, в противном случае я смог бы предложить лишь невразумительный контур руин – и ночи. Я остаюсь верным содержанию. Если некоторые люди еще живы, я изменил фамилии, имена, инициалы.

– Я начал говорить на вашем языке в Константинополе. Вообще-то я родился в Наблусе, наша фамилия Набулси. Мы принадлежим к знаменитому семейству, и мне сегодня восемь часов восемь минут назад исполнилось восемьдесят. В 1912 году я был офицером османской армии и учился в Берлине при Вильгельме Втором. В начале войны, в 1915, когда вы, полагаю, были еще французским ребенком, но уже моим врагом (он любезно улыбнулся, как святая или младенец), мы – нет, простите, это слово не связывает вас со мной, оно вас исключает, в данном случае «мы» означает немцы и турки – находились под командованием Кайзера Вильгельма Второго, лейтенанта. Мы еще не встретились с вашим маршалом Франше д'Эспере. Он появится позднее. Итак, я хорошо изъясняюсь на турецком, это мой родной язык, на арабском, мой французский вы можете оценить сами, на английском и немецком. Не осуждайте меня, если этим вечером я много говорю о себе, до полуночи это мой праздник.

В 1916 меня призвали на разведывательную службу.

Последующая фраза поглощала предыдущую, не давая возможности переварить ее. Мне же оставалось только слушать.

– Эта война, которую вы, европейцы, считаете законченной, будет длиться еще долго. Я был мусульманином, я остался им при Империи, хотя мы знали, что трансцендентальный Бог уже не в моде, но быть мусульманином сегодня это значит, называть себя мусульманином или что-то другое? Я еще араб и мусульманин в глазах арабов и мусульман. Будучи турком, я был палестинцем, теперь уже никто или почти никто. Может, с Палестиной меня связывает мой младший сын, Омар? Я остаюсь палестинцем благодаря тому, кто предал ислам ради Маркса. Я, как и вы, верю в добродетели предательства, но еще сильнее я верю в верность. Меня здесь оставляют в покое, вы же видите, в моем доме в Аммане, но я иорданец, учтите это... от плохого к худшему, от Хедива<sup>29</sup> к Хусейну, от империи к провинции.

– Вы по-прежнему османский офицер?

– Если угодно. Меня из любезности называют полковником. Для меня это так же важно, как титул герцога СФИО<sup>30</sup>, или принца Эр Интер<sup>31</sup>, которыми мог бы пожаловать меня

---

<sup>29</sup> Хедив – вице-султан Египта в период зависимости страны от Османской империи. (Прим. ред.)

<sup>30</sup> Французская секция Рабочего интернационала. (Прим. перев.)

<sup>31</sup> Внутренние Авиалинии. (Прим. перев.)

господин Жорж Помпиду. Теоретически я подчиняюсь последнему отпрыску – почему бы не сказать огрызку или огузку – династии хашимитов в Хиджазе, то есть, с 1917 я должен был – хотя нет, я ошибаюсь, с 1922, потому что в это время Ататюрк присоединяется к Европе и ведет с ней переговоры...

– Вы не любите Кемаля Ататюрка?

– Я не верю в эту историю. Я имею в виду брошенный с трибуны Коран в зале Высокой Ассамблеи. Он бы не посмел, в зале было полно депутатов мусульман. Но впоследствии он доказал, что нас ненавидит.

– В конце жизни он вернул Турции Александретту и Антиохию.

– Турции их вернули французы. И напрасно. Это арабские земли. Там до сих пор говорят по-арабски. Но, как я вам говорил, с 1922 года я перестал подчиняться османам и стал подчиняться англичанам, Абдалле, а еще Глабб-Паше, который забрал у меня офицерский чин, потому что я служил при Ататюрке. Глабб сделал это, потому что я обучался военному делу в Германии.

– Во Франции говорят «Потерянные солдаты».

– Какое красивое название! Но все солдаты – потерянные. Сейчас только десять. Мое время – до полуночи. Когда я вернулся в Амман, в тот самый город, где я сражался с англичанами, которыми тогда командовал Алленби, так вот, мой старший сын Ибрагим – его мать моя первая жена, она немка



– мой сын заставил меня выкупить наш дом, я должен был это сделать. В кафе рядом с вашим отелем я играл в триктрак – кажется, отель Салахеддин – меня там узнали, и пять месяцев я провел в тюрьме. Вам повезло больше, чем мне, я всего лишь несколько часов был там с Набилой Нашашаби – мне сказал об этом один из ее братьев – и вот я свободен. Свободен, представляешь! Свободен не переправляться через Иордан, свободен никогда больше не видеть Наблус. Это я смеюсь, ты же понимаешь.

Он вновь взял в рот мундштук кальяна. Я трусливо воспользовался этим коротким молчанием.

– Но вы по-прежнему османский офицер.

– Меня, как говорится, вычеркнули из списков, причем давно уже. Вместе с Исметом Инёню, он не такой жестокий, но более злобный, чем Кемаль. В последний раз я надел униформу на его похоронах в Анкаре, тридцать лет назад. Моя первая жена хранит ее в Бремене, она живет там с моим сыном Ибрагимом.

Он тихо пропел:

«В последний раз я надел униформу на его похоронах в Анкаре тридцать лет назад».

Потом на другой мотив:

«Последний раз  
Я надел  
Униформу  
На его похоронах

В Анкаре-каре-каре  
Тридцать лет назад».

– Вот песенка ко мне привязалась, это такая каватина, которую играла подставка для блюд у нас за столом в Константинополе, по-вашему Истамбул.

– Когда вы, османский офицер, сражались с англичанами, у вас не было ощущения, что вы сражаетесь с арабами из армии Аленби и Лоуренса?

– Ощущение, скажете тоже! Когда ты военный, ощущение одно: ты любишь командовать, любишь выполнять команды, подчинять, подчиняться, а еще любишь медали стран-победителей, вы же, господин Жене, надеюсь, не верите ни в какие ощущения?

Мы с ним оба негромко рассмеялись. Омар и Махмуд оставались серьезными.

И потом, все было далеко не так ясно и понятно, как нам описывает этот маленький, но далеко не скромный археолог. Лоуренс всё приукрасил, даже свою содомию он преподносит, как героический поступок. Посмотрите-ка, что сейчас происходит в Аммане и Зарке: все солдаты и офицеры палестинцы по различным каналам получили приказ, ну, или, по крайней мере, настоятельный совет дезертировать из иорданской армии, состоящей из недобитых банд Арабского легиона Глабба, молодых бедуинов, палестинцев, и присоеди-

ниться к Армии Освобождения Палестины<sup>32</sup>. Ну и многие так сделали?<sup>33</sup>

– Мало.

– Очень мало. А почему? Потому что предатели? Из трусости? Чтобы не сражаться с бывшими братьями по оружию? Из лояльности к королю Хусейну? Я сам старый-старый солдат и понимаю, что все это очень важно. Я был офицером османской армии, арабским офицером. Когда ваши историки говорят о всеобщем подъеме арабского мира, вызванном Лоуренсом, скажем прямо, подъем был вызван золотом, ящиками золота, которое посылал Его величество Георг V. Там были очень серьезные дискуссии, амбиции пытались скрыть всякими напыщенными речами: мол, свобода, независимость, патриотизм, благородство; но как эти самые амбиции ни пытались скрыть, они вылезали в самом уродливом виде – все эти требования постов, мест в правительстве, чины, звания, поездки, я кое-что и подзабыл, в общем, все, что угодно, только не золото. Но мои глаза его видели, пальцы трогали! Хорошо, давайте поговорим о нем. О золоте. О карманах, полных золота. Сын рассказал мне, что на прошлой неделе вы были у одной крестьянки, кажется, это дочь унтер-офицера бедуина, которого ослепил блеск британско-

---

<sup>32</sup> Армия Освобождения Палестины – не путать с Организацией Освобождения Палестины. Председатель исполкома ООП – Ясер Арафат.

<sup>33</sup> Лейла мне говорила, напротив, что дезертировало много солдат и офицеров. Но много – это сколько?

го золота. Его ослепило золото, а наших эмиров не только золото, но еще орденские ленты через плечо, орден Подвязки, медали, нашивки – у бедуинов цацки и грудь колесом, а опьянить его может один выстрел винтовки Лебеля. Можете смотреть на меня, можете закрыть глаза, в том, что происходит вокруг, вы же все равно видите только поэзию: Омар в ФАТХе, вы думаете, фидайны бегут туда из самоотверженности?

Он закричал каким-то жалобным голосом: «Омар! Омар, Махмуд, этой ночью можете курить при мне!» и добавил уже для меня, откинувшись на вышитые шелковые подушки: «Пока я миф, они не посмели бы оскорбить курением мои седины». Он не обратил внимания на оговорку, вернее, не счел нужным ее поправить, предпочтя изображать передо мной эдакого старого османского вояку, который скорее миф, чем жив. Может, в своих туманных мечтаниях он видел себя героем легенды: мы помолчали.

Пальцы уже теребили в карманах зажигалку и сигареты.

– Вы когда-нибудь поймете, кто были эти англичане. Вспомните о черкесах. Давайте пару минут поговорим о них: Абдул-Хамиду была нужна надежная армия (мусульмане, но не арабы), чтобы дать отпор мятежникам бедуинам. Он вспомнил о Российской империи и о черкесах. Кедив подарил им свои лучшие земли – эту Иорданию, а еще теперешнюю Сирию – земли, где источников было немного, но все богатые, хотя они отдали евреям те, что находятся на Голан-

ских высотах, у них остались еще деревни возле Аммана. Кто такие были эти черкесы? Казаки-магометане, истребители бедуинов. Они по-прежнему на генеральских и министерских должностях, руководящих постах. Служат господину Хусейну и охраняют его от палестинцев.

Молодые люди отправились курить за перегородку. Эту почтительность по отношению к арабской аристократии или, по крайней мере, той, что выдает себя за таковую, я видел в их лицах, словах, жестах, а еще когда в холл отеля Странд в Бейруте вошла Самия Сольх<sup>34</sup>. Описание того вечера может подождать, османский военный продолжал:

– В наших офицерских столовых – здесь нам лучше было бы проиграть войну, потому что в наших столовых, где сотни закусок мезе, за стаканчиком рисовой водки мы могли думать только о жратве – было много блюд, наливок, шуток, но наши разговоры буксовали бы, если бы нас не вела некая путеводная звезда, Звезда Пастухов, и это золото, месье. А разговоры были такие: Мы, арабские офицеры турецкой армии, должны ли мы было способствовать ослаблению Империи и англо-французскому триумфу? Я одобряю то, что достойно одобрения в наших резолюциях, что можно назвать благородным, а наши отвратительные амбиции напоминают мне, как Людендорф отделал вас на Сомме. Англичане презирали нас уже при Мохаммеде Али; Французы в Алжире, в

---

<sup>34</sup> Вероятнее всего речь идет о Ламии Сольх, бывшей тогда невестой марокканского принца Абдаллы. (*Прим. ред.*)

Тунисе – кто всю войну 14–18 молился в мечетях за нашу победу, может, это из-за Бея, который турок по национальности, но, во всяком случае, тунисские молитвы за победу Германии и Турции над вашей страной доходили до Бога; итальянцы презирали нас после событий 1896 года в Эритрее. Мы должны желать успеха всем христианам?

– Немцы были христианами.

Господин Мустафа несколько секунд помедлил, насвистывая каватину музыкальной подставки для блюд.

– Ни одна арабская страна не была немецкой колонией. Инженеры-боши сделали нам шоссе и железные дороги. Вы видели дорогу в Хиджаз?

– В этот раз нет. Видел, когда мне было восемнадцать. Я проходил военную службу в Дамаске.

– В Дамаске? Расскажите-ка мне. А в каком году?

– В 1928 или 1929.

– У вас остались хорошие воспоминания?.. Нет-нет, не рассказывайте об этой стране, о себе и о своих любовных историях. Я знаю, что об этом думать. Меня интересуют разговоры, наверняка вы обсуждали арабов, наши убеждения. У меня двойственное отношение к Ататюрку, я не слишком его уважаю. Он не любил арабов, и арабского языка почти не знал<sup>35</sup>, но он спас от османского мира все, что только мог. Унизить Империю, как вы ее унизили, когда последний ха-

---

<sup>35</sup> Это легенда? Ататюрка едва не посадили в тюрьму, потому что он плохо говорил по-арабски. И, как мне рассказывали, понимал его тоже плохо.

лиф сбежал на английской корабле – пленник и дезертир, что вы сделали с Абд аль-Кадиром. Англия здесь с Глаббом, в Палестине Самюэль, Франжье в Ливане, в Сирии Афляк с его смехотворной БААС<sup>36</sup>, Ибн Сауд в Саудовской Аравии...

– Что должно было быть между 14 и 18?

Отец Омара выпрямился передо мной на ковре из Смирны, под люстрой венецианского стекла.

– Мы до 1917 года, еще задолго до декларации Бальфура знали, что богатые землевладельцы...

Я впервые услышал, как он произносит фамилию семейства Сурсок.

– ... землевладельцы во время этой войны установили нужные контакты, чтобы продать евреям целые деревни, земли там были всякие, и хорошие, и плохие. Мы знаем имена арабов, которые получили от этого прибыль...

– У них имелись сообщники в Порте...

– Разумеется. А англичане, которые были хотя и анти-сеμίтами, но реалистами, занимались обустройством европейского поселения по соседству с Суэцким каналом, чтобы удерживать восточный Аден и присматривать за ним.

Стенные часы из эбенового дерева пробили полночь. Шел шестнадцатый час восьмидесятилетия османского офицера. Омар вежливо поинтересовался, не боится ли он обидеть своими разговорами иностранца. Старик взглянул на меня, как мне показалось, благожелательно.

---

<sup>36</sup> Партия арабского социалистического возрождения (*Прим. перев.*)

– Ни в коей мере. Вы прибыли из страны, которая и после моей смерти останется у меня в сердце: страны Клода Фаррера и Пьера Лоти.

Каждый день и каждую ночь смерть проскальзывала рядом: вот откуда это ажурное кружевное изящество, по сравнению с которым все эти танцы под аплодисменты кажутся такими неуклюжими и тяжеловесными. Не знаю, как животные, а все предметы становились родными.

Когда потери личного состава исчисляются сотнями и тысячами, смерть не означает здесь ровным счетом ничего, а главное – невозможно почувствовать двойную, тройную, четверную печаль, когда погибали четверо друзей, и когда погибали сто, печаль не становилась стократ сильнее. Смерть какого-нибудь фидаина, которого ты любил, каким странным бы это ни казалось, позволяла ему жить среди нас еще интенсивнее, представать перед нами с прежде не замечаемыми мелочами и подробностями, говорить с ним, слушать, как он отвечает веско и убедительно. Из-за того, что время жизни оказалось таким кратким, эта единственная жизнь фидаина, теперь уже мертвого, приобретала поразительную плотность. Если у какого-нибудь двадцатилетнего фидаина были планы на завтра – помыться, отправить написанное накануне письмо... – теперь мне казалось, что к его неосуществленным планам примешивался дурной запах, запах разложения: ведь планы мертвого пахнут тлением.



Но зачем им нужна была моя белая голова со светлой кожей, седыми волосами, небритой бородой, эта белая, розовая, круглая голова? Может, нужен был свидетель? Мое тело не шло в счет: оно просто несло эту голову: круглую и белую.

Все было гораздо проще: вместо ребенка Черные Пантеры нашли всеми покинутого старика, и старик этот оказался белым. Человек наивный во всех смыслах, я был настолько несведущ в американской политике, что слишком поздно понял: сенатор Уоллес был расистом. Вероятно, я пытался осуществить старую детскую мечту, в которой иностранцы – в сущности, больше похожие на меня, чем соотечественники – дарили мне новую жизнь. И это детское ощущение наивности и простодушия пришло ко мне благодаря мягкости пантер, отнюдь не полученной мною как некая привилегия, но которой я пользовался, ведь она, как мне казалась, была самой сущностью Пантер. Мне, старику, вновь стать приемным ребенком было очень приятно, поскольку благодаря этому я познал настоящее покровительство и внимательное, сердечное воспитание, ведь Пантер можно было узнать по их педагогическим талантам.

Покровительство Пантер было таким надежным, что в Америке я ничего и никогда не боялся – разве что боялся за них самих. И, словно по волшебству, белая полиция и белая администрация не придиралась ко мне. В самом начале, еще до того, как меня принял под свое покровительство Дэвид

Хиллиард, когда мне хотелось увидеть Гарлем, меня всегда кто-нибудь сопровождал, до того самого дня, когда я один отправился в какое-то бистро для черных, где обслуживали только черных: вероятно, это было что-то вроде борделя, куда с черными парнями приходили красивые девушки. Я заказал кока-колу. Мой акцент и построение фразы вызвали всеобщий смех. В самый разгар ссоры с каким-то типом и хозяином бистро двое посланных на поиски Пантер отыскали меня «в городских джунглях».

Испуганные при виде оружия белые, кожаные куртки, непослушные волосы, слова и даже тон голоса, одновременно злобный и нежный: Пантеры так хотели. Они сами выбрали такой образ, театральный и драматический. Театр – чтобы разжечь драму и потушить ее. А драма разыгрывается ими для белых; они сами хотели, чтобы этот образ, повторенный стократно в прессе и на экране, неотступно преследовал белых, и угроза оказалась не пустым звуком, потому что ее подкрепляли реальные смерти: они стреляли, и вид оружия, направленного на цель, заставлял стрелять копов. Если сказать, к примеру, что «поражение Пантер связано с тем, что они присвоили себе «товарный знак» до того, как стали осуществлять реальные дела в подтверждение этого знака» (это я вкратце излагаю вопрос, заданный мне газетой «Рампар»), то потребуется много примечаний. Например, что мир можно изменить не войнами и человеческими смертями, а другими средствами. «Власть находится на конце оружейного

дула», возможно, а может быть, и на конце тени ружейного дула. Изложенные в десяти пунктах требования Черных Пантер и примитивны, и противоречивы. Вероятно, это заслонка, за которой происходит некий процесс, причем, процесс вовсе не такой, каким оказался бы, будь он выражен четко и понятно. Вместо независимости: реальной, территориальной, политической, административной, требующей конфронтации с властью белых, произошла метаморфоза чернокожего. Из невидимого он сделался видимым. И этой самой видимости удалось добиться разными способами. Ведь когда мы говорим «чернокожий», то имеем в виду не цвет: на эпидермис с более или менее плотной пигментацией он может накинуть цветные одежды, праздничные одежды, и это станет его обрамлением, золотым, лазоревым, розовым, сиреневым, а черный цвет, более или менее черный, требует определенной договоренности с другими тонами, пастельными или яркими, во всяком случае, привлекающими внимание, и это обрамление не может скрыть разыгрывающуюся драму, потому что глаза все равно видят и скрыть ничего невозможно.

Эта метаморфоза и есть изменение?

«Да, когда эта метаморфоза касается белых, путь они изменяются тоже. И белые изменились, ведь их страхи уже не те, что прежде».

Были смерти, были нападения, доказывающие, что чернокожие становятся все более грозными, все менее уязвими-

ми. И тогда у белых появилось предчувствие, что рядом с ними создается настоящее общество. Да, оно существовало и прежде, но было боязливым, пыталось копировать белое общество, и вот теперь оно отделялось и отказывалось быть чьей-то копией в повседневной жизни, но в мифах тайной мифологии Малкольм Икс, сам Кинг, Нкрума были для него примерами.

Почти не оставалось сомнений, Пантеры победили, причем какими-то несерьезными способами: шелком и бархатом, взлохмаченными волосами, символами, которые преобразили чернокожего и его изменили. А на тот момент допустимыми методами считалась традиционная борьба, национальные освободительные движения, возможно, классовая борьба.

– В этом было что-то театральное?

– Обычно театр подразумевает сценическую площадку, публику, репетиции. А Пантеры если и играли, то не на сцене. А их публика никогда не была пассивной: черная публика вела себя естественно или освистывала их, белая оказывалась уязвлена и страдала от своих язв. Если полагаете, будто эти представления происходили за воображаемым занавесом, который ослаблял и смягчал впечатление, вы ошибаетесь: избыточность и чрезмерность в словах, в поведении, в роскоши приводила Пантер к еще большей избыточности и чрезмерности. Теперь, наверное, следует поговорить о земле, которой нет. То, что последует дальше – всего лишь пред-

положение.

Для всех народов, у которых территория проживания ограничена – впрочем, для кочевых народов тоже, ведь границы пастбищ устанавливаются не хаотично и беспорядочно – земля это опора и основа родины. Но не только. Земля, или территория – сама по себе материя, пространство, где осуществляется определенная стратегия. Она может быть необработанной или возделанной или застроенной, но главное, она является пространством, где назревает война или готовится стратегическое отступление. Можно называть ее священной или нет, все эти дикие обряды, имеющие целью сакрализировать ее, не имеют большого значения: прежде всего, это место, откуда начинается война и куда отступают. У чернокожих нет земли, как ее нет и у палестинцев. Их положения – черных американцев и палестинцев – не схожи ни в чем, кроме одного: у тех, и у других нет земли. Измученные и истерзанные, на какой территории будут готовить они мятеж? Да, существует гетто, но они не могут ни укрыться там – понадобились бы баррикады, крепостные стены, бункеры, оружие, боеприпасы, соучастие всего чернокожего населения – ни вырваться оттуда, чтобы вести войну на территории белых: вся территория Америки принадлежит белым американцам. Значит, в другом месте и по-другому будут они вести деятельность, разрушительную для сознания. Где бы ни были американцы, они хозяева. Пантеры будут стремиться наводить ужас на хозяев, но с помощью единственно-

го средства, каким располагают: протест. И он произойдет, потому что вызван отчаянием, потому что они сумеют сделать его особо выразительным благодаря своей особой ситуации: смертельная опасность и реальные смерти, ужас тела и напряженные нервы.

Протест есть протест, и существует опасность, что он превратится в нечто воображаемое, станет лишь красочным карнавалом, и такой риск был у Пантер. Но имелся ли у них выбор? Будучи хозяевами – или суверенными собственниками территории, они не смогли бы, вероятно, образовать правительство: президент, военный министр, министр образования, фельдмаршал и после выхода из тюрьмы «Верховный главнокомандующий» Ньютон.

Немногие сочувствующие Пантерам белые довольно быстро выдохлись. Они могли воспринимать лишь их идеи, но не могли последовать за ними в их оборонительные сооружения, где чернокожие были вынуждены разрабатывать и осуществлять стратегию, которая черпала свои ресурсы в воображаемом.

У Пантер было несколько путей: к безумию, к преобразованию черного сообщества, к смерти или в тюрьму. Этими путями исчерпывался результат всего этого предприятия, но главным следствием было именно преобразование, и поэтому можно сказать, что пантеры победили благодаря поэзии.

По дороге, ведущей в Эс-Салт<sup>37</sup>, я вернулся в палатки Аджлуна. Абу Касем стоял с поднятыми руками – это первое, что я увидел. Он развешивал белье на протянутой между деревьями веревке. Источник был рядом. Слуги иорданских министров перед резней в Аммане поили там лошадей. Фидаины заняли пять-шесть вилл, предназначенных министрам. Интересно, где Абу Касем раздобыл прищепки для белья? И к чему эта стирка? Он ответил мне без улыбки фразой из катехизиса:

– Фидаин всегда сам находит то, что ему нужно. Прищепки здесь. Если тебе нужно развесить белье, возьми вот эти, других все равно не найдешь, ты же не фидаин.

– Спасибо, я никогда не моюсь. Ты шутишь, Касем, но у тебя даже шутки мрачные.

– Мухамед этой ночью идет в Гхор. (Гхор – Иорданская долина).

– Это твой друг?

– Да.

– Ты давно узнал о его отъезде?

– Двадцать минут назад.

– Это его белье?

– Его и мое. Этой ночью нужно быть чистым.

– Ты волнуешься, Касем?

– Я беспокоюсь. И буду беспокоиться, пока он не вернется, или пока не станет ясно, что надеяться больше не на что.

---

<sup>37</sup> Эс-Салт – город на северо-западе Иордании. (Прим. ред.)

– Ты революционер и так любишь Мухаммеда?

– Когда ты станешь революционером, то поймешь. Мне девятнадцать лет, я люблю революцию, я посвятил себя революции, и надеюсь, смогу ей служить еще долго. Но здесь мы отдыхаем. Мы революционеры и мы люди. Я люблю всех фидаинов и тебя я люблю тоже; но под деревьями ночью или днем я могу дарить свою дружбу кому-нибудь одному из отряда, я могу разделить пополам, но не на шестнадцать частей плитку шоколада и отдать половину тому, кому хочу. Я выбираю.

– Вы все революционеры, но ты отдаешь предпочтение одному из них?

– И все палестинцы. А я выбираю ФАТХ. Ты никогда не задумывался о том, что революция и дружба подходят одно к другому?

– Я да, а твои командиры?

– Если они революционеры, они, как я, кого-то любят больше.

– А эту дружбу, о которой ты говоришь, ты решился бы назвать любовью?

– Да. Это и есть любовь. Сейчас, в эту минуту ты думаешь, что я боюсь слов? Дружба, любовь? Одно я знаю наверняка, если сегодня ночью он умрет, рядом со мной всегда будет пустота, и я постараюсь туда не упасть. А что командиры? Когда мне было семнадцать, они решили, что я достаточно благоразумен, чтобы вступить в ФАТХ. ФАТХ меня не отпу-



стиль, когда я был нужен матери. Сейчас, когда мне девятнадцать, мое благоразумие никуда не делось. Я революционер, и когда отдыхаю, моя дружба отдыхает тоже. Этой ночью я буду беспокоиться, но все равно стану делать свою работу. Все, что мне нужно делать, когда я спущусь к Иордану, я выучил два года назад и знаю наизусть. А теперь мне нужно повесить последнюю майку.

В Иордании всего десять-двенадцать лагерей. Могу назвать их: Джабаль аль-Хусейн, Вихдат, Бакаа, Лагерь Газа, Ирбид, это те, которые я знаю лучше всего. Жизнь там проста и неприхотлива, во всяком случае, не такая, как на базах. Более устоявшаяся, что ли. Женщины, при всей своей безмятежности, были какими-то массивными, даже самые худые, я не говорю про массивность тел, грудей, зада, я имею в виду весомость их жестов, выражающих уверенность и покой. Многие иностранцы, то есть, не-палестинцы, отправлялись именно в лагеря, те, что «над базами» – это «над базами» звучало комично, потому что как раз вооруженные базы располагались в горах, чтобы наблюдать за Иорданом. Фидайны возвращались в лагеря для отдыха – французы говорили «чтобы пострелять» – или запастись лекарствами.

Во всех лагерях имелись крошечные медпункты-аптеки, заставленные (именно потому, что очень маленькие) коробками с просроченными лекарствами, бесполезными, непонятно от чего, присланными из Германии, Франции, Италии,

Испании, из скандинавских стран, и никто не мог разобрать состав, инструкции, способ употребления.

Когда в лагере Бакаа сгорели несколько палаток, Саудовская Аравия прислала в подарок самолетом прямо из Рияда дома из гофрированного железа, и как только они прибыли в лагерь, пожилые женщины устроили прием: что-то вроде импровизированных танцев, как Азеддин, который выплясывал вокруг своего первого велосипеда. Крытые листовым железом – или алюминием – дома сияли на солнце, отражая свет. Представьте себе куб, в котором отсутствует одна сторона, а именно пол. А в другом боку дыра для двери. В такой комнате чета восьмидесятилетних стариков под полуденным солнцем могла бы свариться заживо, а зимой ночью заледенеть. Нескольким палестинцам пришла в голову мысль заполнить впадины волнообразной железной поверхности рыхлой черной землей, и на крыше, и по бокам, где ее, землю, удерживала металлическая решетка. В этом маленькой садике они посеяли траву и каждый вечер поливали ее, там даже выросло несколько чахлах цветочков, какие-то маки. Дом из гофрированного железа стал пещерой, довольно уютной и зимой, и летом, но желающих копировать эти сельские холмы почтальона Шевалья<sup>38</sup> нашлось немного.

Ну и что делать после этих огненных и железных бурь?

---

<sup>38</sup> Жозеф Фердинан Шеваль, более известный как почтальон Шеваль, – предтеча Ар брют, создатель самого впечатляющего памятника наивной архитектуры – Идеального дворца почтальона Шевалья. (*Прим. перев.*)

Пылать, стенать, стать охапкой хвороста, пылающим факелом, почернеть, сгореть, медленно покрываться пылью, потом землей, семенами, зарастать мхом, оставить после себя лишь челюсть и зубы, стать, наконец, крошечным холмиком, который еще цветет, но уже ничего не укрывает.

С самого начала, насколько я имел возможность ее наблюдать, палестинская революция не стремилась овладеть территорией, вернуть утраченные земли, огороды или фруктовые сады без ограды, это было крупное протестное движение, кадастровый спор, захлестнувший весь исламский мир, причем речь шла не только о территориальных границах, а о пересмотре и, возможно, отрицании теологии, умиротворяющей и нагоняющей сон, как бретонская люлька. Эта была мечта, но еще не твердое решение фидаинов – раскачать, сдвинуть с места двадцать два арабских народа, пойти как можно дальше, чтобы вызвать у всех улыбки, сначала детские, потом идиотские. Америка, первая из намеченных целей, изобретала всякие чудеса. Палестинская революция, полагая, будто шествует с высоко поднятой головой, на самом деле шла ко дну. Страсть к самопожертвованию – ведь Н не мог вернуться в Европу – это своего рода опьянение, которое мешает жертвовать собой, когда бросаешься в пропасть не для того, чтобы спасти тех, кто уже бросились туда раньше, а чтобы последовать за ними, а главное, когда уже ясно видишь ужас собственной гибели, явленной не в отраженном свете, а в реальности.

Чуть выше, когда я говорил о почтительности, почти угодливости — в словах, поклонах, жестах — фидаинов перед представителями палестинской аристократии, я обещал, что вернусь к Самие Сольх.

На юге Ливана мне уже приходилось видеть раненых командос на белых больничных простынях, смущенных видом пожилых женщин с накрашенными глазами, губами и скулами, громогласных и звенящих при каждом своем движении золотыми браслетами, золотыми цепочками, золотыми колье, золотыми серьгами, золотыми подвесками, и этот звон казался похоронным.

— Этот ваш звон их или разбудит или убьет, — сказал я одной из них.

— Скажешь тоже. Мы много жестикулируем, как все средиземноморские народы, мы ведь марониты и финикийцы. Мы, конечно, пытаемся сдерживаться, но когда видишь столько страданий, подавлять жалость не получается, вот наши украшения и звенят, тут уж ничего не поделаешь. Мне многие говорили, что никогда раньше не видели таких богатых и красивых. Пусть, по крайней мере, глаза этих больных наполнятся счастьем.

— Не спорь с иностранцем, Матильда. Пойдем к ампутированным.

Позднее мне слишком часто придется наблюдать вблизи пожилых дам, все, что осталось от известных палестинских

семейств.

Рагу из гусятины – возможно, эта метафора даст представление о красивой пожилой палестинке? Лицо и манеры богатых дам наводили на мысль, что не жарка в кипящем масле, а, скорее, томление на медленном огне округлили скулы, придали коже розовый оттенок; горести их народа смягчили и отшлифовали черты этих женщин, пропитанных несчастьем, как гусь становится сочным, пропитавшись собственным жиром. Они были – особенно одна из них – восхитительно и эгоистично нежными, как будто их нежность нужна для того, чтобы отстраниться от жестоких невзгод. Медленно томиться на слабом огне, чтобы стать вкуснее. Им было известно про резню в Шатиле так же, как и про курс золота и доллара, но их осведомленность была сродни изнанке шерстяного или шелкового ковра, когда об узоре смутно догадываешься по узелкам и петлям с обратной стороны; да, они знали про страдания, но до них все доходило словно через какой-то буфер, может, через платье столетней или столетидвадцатилетней давности, расшитое мертвыми пальцами слепой вышивальщицы. Они культивировали свою учтивость, чтобы она служила им украшением. Так, если бы разговор случайно зашел о Венеции, они бы никогда не произнесли фамилию Дягилева, а стали бы говорить о Лагуне, о Большом Канале, о стекольных мануфактурах на острове Мурано, о похоронных процессиях на гондолах...

– Так хоронили Дягилева, – сказали бы вы.

– Я видела, как они проплывали, с балюстрады отеля Даныели.

Со своего катафалка они разглядывали свой народ через перламутровый бинокль. С этого ложа и из окон принцессы с достаточно крепкими – чтобы носить золотые цепочки – запястьями созерцали сражения, и печаль придавала их взгляду особую манерность. Из окна переносного дома я смотрел на море, на виднеющийся вдали Кипр, я тоже ждал, когда начнутся сражения, но все же не стал такой постаревшей принцессой с сочной плотью. Это сходство меня никогда не смущало; слащавые черты и приторность, обволакивающая аристократическое потомство Али, мне никогда не нравились; однако, как и эти дамы, я из окна или театральной ложи, словно через перламутровый лорнет рассматривал палестинский мятеж. Как же далеко я от них был – живя среди фидайнов, я находился по эту сторону некой границы, я знал, что меня оберегает, нет, не моя кельтская внешность, не защитный слой гусиного жира, а сияющая другим светом надежная броня: моя не-принадлежность к этой нации, к этому движению, с которыми я так и не слился. Мое сердце было там, мое тело было там, мой разум был там. Все по отдельности было там: но не моя вера полностью, и не я сам весь целиком.

Есть множество вариантов сочетаний и союзов. Но что мне казалось странным – ежедневное, днем и ночью, ежечас-

ное и ежесекундное необычное супружество: ислам и марксизм. Если рассуждать теоретически, это сплошные противоречия: Коран и «Капитал» ненавидели друг друга, однако какая осязаемая всеми гармония рождалась из этих несходств и разногласий. После серьезного и вдумчивого чтения немецкой книги эта гармония, которая, как казалось прежде, дарована из великодушия, представлялась даром по справедливости. Мы плыли вслепую, наобум, то быстро, то медленно, Бог ударялся лбом о выпуклый лоб Маркса, который его отрицал. Аллах был повсюду и нигде, несмотря на обращенные в сторону Мекки молитвы. В конце сороковых во Франции был популярен актер Луи Жуве. На его равнодушную просьбу написать пьесу для двух-трех персонажей я ответил равнодушным согласием. Я понял, что именно любезность побудила его задать почти провокационный вопрос, и такую же любезность я услышал в голосе Арафата, когда он сказал мне:

– А почему бы не написать книгу?

– Конечно.

Мы не стали связывать себя обещаниями, которые забываются еще до того, как произнесены. Я не сомневался, что вопрос Арафата, как и мой ответ, были всего лишь обменом любезностями, поэтому я и думать забыл про перо и бумагу. Я не верил в возможность написания этой книги – вообще никакой книги – ведь был убежден, что внимателен лишь к тому, что вижу и слышу. Меня увлекло, скорее, мое соб-

ственное любопытство, а не то, что было объектом этого любопытства. Хотя я сам не отдавал в этом отчета, каждое событие и каждое слово откладывались у меня в памяти. Мне нечего было делать, только смотреть и слушать, а это не самое благовидное занятие. Итак, я оставался любопытным и нерешительным, но постепенно, так бывает у старых супружеских пар, поначалу безразличных друг к другу, так случилось между палестинцами и мной, моя любовь и их нежность привели меня в Аджлун.

Благодаря политике сверхдержав и отношению с ними Организации Освобождения Палестины палестинская революция приобрела нечто вроде трансцендентальной защиты, которой мы пользовались; дрожь, зародившаяся, возможно, в Москве, возможно, Женеве, Тель-Авиве волнами через Амман доходила до Джераша и Аджлуна.

Шедшие параллельными путями и, как я поверил на какое-то мгновение, наслаиваясь одно на другое, тысячелетия, прожитые арабами и палестинцами бок о бок, делали свое дело.

Палестинский патриотизм в Аджлуне походил на «Свободу на баррикадах» Делакруа. Если посмотреть на нее издалека, учитывая некое смещение, в ней можно увидеть богиню. Аравийский полуостров полностью находился под османским владычеством, по мнению некоторых, мягким, по мнению многих, достаточно суровым. Если в общих чертах: ан-



гличане, приведя в качестве аргументов ящики с золотом, посулили арабам независимость и создание арабского королевства, если народ – арабоязычный – восстанет против османов и немцев в 1916, 17, 18. Но уже тогда соперничающие влиятельные семейства: палестинские, ливанские, сирийские, хиджазские искали поддержки то турок, то англичан, причем, не для того, чтобы добиться большей свободы для новой, арабской, нации, которая лишь зарождалась, но еще не появилась на свет, а чтобы сохранить власть и остаться одним из этих влиятельных семейств, чьи фамилии говорят сами за себя: Хусейни, Джузи<sup>39</sup>, N'Seybi<sup>40</sup>, Нашашибид... Другие ждали победы эмира Фейсала или работали против него.

Ни одно знатное палестинское семейство не высказалось твердо и определенно, вероятно, у каждого из них были свои представители и в том, и в другом лагере: и у османов, и у французов с англичанами.

Затем те, кто неосмотрительно выбрали сторону англичан, то есть, лагерь эмира Фейсала, были вынуждены выступить против них, когда узнали, что евреи получили свое государство.

Кроме богатых сирийских и ливанских семейств – например, Сурсоки – и невероятного потомства Абд аль-Кадира,

---

<sup>39</sup> По-видимому речь идет о иерусалимской семье аль-Джаузи. (*Прим. ред.*)

<sup>40</sup> Нусейбе – одна из двух мусульманских семей-хранителей ключей от Храма Гроба Господня. (*Прим. ред.*)

все, кто по праву наследования являлись «Большими Палестинскими семьями», пожелали сражаться за Палестину в первых рядах одновременно и против англичан, и против Израиля.

Семейство Хусейни<sup>41</sup> – сыновья, внуки, племянники, внучатые племянники главного муфтия из Иерусалима – насчитывает много мучеников, погибших за свободу Палестины. (Когда я употребляю некоторые слова, такие как «мученик», то вовсе не пытаюсь примерить благородный ореол, которым гордятся палестинцы. Сохраняя некую шутовскую дистанцию, я использую то или иное слово в его словарном значении. Вот и все. К этому выбору я еще вернусь).

Госпожа Шахид (это имя означает «мученик»), урожденная Хусейни, племянница главного муфтия Иерусалима, рассказала мне, не без гордости, как мне показалось, о выборе константинопольского хедива.

«В этой христианской свалке вокруг Гроба Господня царил такой хаос (кто отслужит больше мессы в церкви, кто будет ее дольше занимать: католики, русские или греческие православные, марониты с тонзурой или без, по какой литургии? Французские, итальянские, немецкие, испанские, коптские епископы, русские и греческие попы – все хотели совер-

---

<sup>41</sup> Семья Хусейни, представители которой еще весьма многочисленны, имеет весьма дальнее родство с Хусейном, нынешним королем Иордании, разве что те из них, что ведут свое происхождение от Пророка, потому что оба семейства – из Хиджаза и из Палестины – это роды Шарифа, то есть, потомки Пророка.

шать богослужение на своем языке), что хедивы решили отдать ключи от Гроба Господня и от церкви Вознесения двум-трем мусульманским семьям, чтобы те хранили их в своих домах в Иерусалиме. Помню шум кареты по мостовой, когда мой отец вернулся с ключами от могилы Христа, и радость матери, что отец цел и невредим».

«Влиятельные семейства» продолжали играть важную роль в борьбе. Далеко не все их представители были преданы этой борьбе, некоторые ей пользовались, то отдаляясь, то приближаясь, в зависимости от собственных интересов. В семействе Хусейни много героев, в семье Нашашибби – их соперниках при османах – тоже.

Представители влиятельных семейств не щадили друг друга, они считали своим исключительным правом рассказывать то, что могло навредить их соперникам, неважно, правда эта была или ложь. Чего я не могу понять, так это оскорблений у фидаинов. Может, это из-за моего плохого знания языка? Однако я слышал много оскорблений в адрес военачальников. Фидайны не скрывали, что относятся к ним безо всякого уважения. О своих начальниках они говорили мне с презрением, о равных себе – никогда. И эта деталь мне кажется очень красноречивой, она перевешивала все остальные.

А еще фидайны не принимали в расчет соблазнительные архитектурные завитки, которыми эти влиятельные семейства, поколение за поколением, дополняли орнамент мусуль-

манской эпопеи. Никто не смог бы мне поведать то, о чем рассказала госпожа Шахид:

«Войдя в Иерусалим, султан (далее следует какое-то имя) решил до официальной церемонии прочитать молитву. Но там еще не было места для проведения исламского богослужения. Население предложило султану прочитать молитву в христианской церкви. Тот отказался: «Если я так сделаю, кто-нибудь из правителей, пришедших после меня, увидит в моем поступке повод завладеть этой церковью, коль скоро она послужила местом молитвы Аллаху». Он помолился в другом месте. Там, где впоследствии по велению Ислама воздвигли мечеть, так называемую Мечеть Купола Скалы».

Арабский рассказ в точности совпадает с легендой о Святом Людовике, который вершил правосудие под дубом.

Своими сказаниями палестинка госпожа Шахид добавляла к легенде немного толерантного ислама, как на английских кладбищах заботятся о могилах, она заботилась о репутации некоего султана, который жил полторы тысячи лет назад и был, возможно, ее предком, прямым или в результате брака. Фидаины не придавали значения подобным сказкам.

Власть арабского народа была обещанием, данным Лоуренсом Фейсалу, но Англия не сдержала этого обещания. По мандату, утвержденному Лигой Наций, Франция получила Ливан и Сирию, Англия Палестину, Ирак Трансиорданию. Соперничество влиятельных семейств превратилось

в патриотизм. Став военачальниками, их старейшины стали именоваться Англией и Францией главарями банд, а к 1933 году – пособниками Гитлера на Ближнем востоке. Зарождалось палестинское сопротивление.

Когда я однажды разговорился с консьержем гостиницы, он сообщил, что ждет ответа из Канады, где надеялся получить место в фешенебельном отеле, «ведь здесь нет никакого будущего». В этот самый момент мимо нас проковылял старый слуга, сгорбленный, унылый, и быстро исчез в буфетной.

– Вот это мое будущее, если я останусь. Шестьдесят лет службы, – презрительно произнес он.

– И никакого недовольства.

Он злобно ударил ладонью по стойке красного дерева:

– Вот именно, месье, шестьдесят лет и никакого недовольства. Поэтому я готов уехать куда угодно.

Политическое руководство, военные из АОП и ООП, политики всех наций, настроенные на встречу с Арафатом, более или менее дружелюбные или, по крайней мере, признанные Сопротивлением журналисты, несколько благожелательно настроенных немецких писателей были клиентами Странд-отеля в Бейруте. В гостиных отеля можно было выпить стакан-другой виски с телохранителями Кадуми. Вошла Самия Сольх, ее встретил сам директор отеля. Прежде чем сесть в кресло, невеста марокканского принца Абдаллы уронила с плеч белое норковое манто, подбитое белым шел-

ком, красивыми складками оно упало прямо к ее ногам. Упало и на какое-то мгновение превратилось в меховой пьедестал, который она перешагнула. Жених поднял мантию и на вытянутых руках отнес в гардеробную.

Мне было восемнадцать, когда здесь, в Бейруте, на Пло-  
щадь пушек<sup>42</sup> Плас де Канон мне показали четверых пове-  
шенных (сказали: «воры», но сегодня я думаю, что это были  
мятежные друзья), их еще не сняли с виселиц; мой взгляд,  
стремительный, как у клиентов Странд-отеля, стал искать  
и нашел ширинку повешенных; в Странде все взгляды сра-  
зу устремились на знаменитые ягодицы, затем поднялись  
вверх: у этой Самии, столь же красивой, сколь и глупой, рот  
и язык были бойкими и проворными.

---

<sup>42</sup> Площадь пушек или Площадь мучеников – центральная площадь Бейрута.  
(Прим. ред.)

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.